

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

№ 4

2007

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ

<i>Сапон В. П.</i> Российские анархисты в 1905–1910 гг.: «практикум» по либертаризму .....	2
<i>Аронов Д. В.</i> Либеральное дореволюционное законодательство: опыт выявления структурно-логических связей .....	8
<i>Дунаева А. Ю.</i> Генерал-лейтенант В. Ф. Джунковский в действующей армии 1917 г.: от Февраля к Октябрю .....	13
<i>Емельянов-Лукьянчиков М. А.</i> К. Н. Леонтьев о национальной политике .....	23
<i>Липатова О. В.</i> Взаимоотношения государственного и местного управления в дореволюционной России: историко-коммуникативный анализ .....	31

ФИЛОСОФИЯ

<i>Любимцев К. В.</i> Парадигма модернизации в социальной теории .....	41
<i>Петренко Н. С.</i> Трансформация образа человека в контексте модернизации (некоторые социально-психологические аспекты) .....	50
<i>Ульшина Е. Н.</i> В. С. Соловьев: экономика с позиций философии морали .....	59
<i>Козлов С. В.</i> Социально-политический порядок и его легитимность как социокультурные и ценностно-нормативные реалии .....	66

ФИЛОЛОГИЯ

<i>Жаткин Д. Н., Рябова А. А.</i> Творчество поэтов «озерной школы» в интерпретации Н. С. Гумилева .....	74
<i>Стадульская Н. А.</i> Ассоциативная основа воздействующей функции эффективных товарных знаков .....	82
Аннотации .....	88
Сведения об авторах .....	92

# ИСТОРИЯ

---

УДК 329.5(47+57)«1905/1910»

*В. П. Сапон*

## **РОССИЙСКИЕ АНАРХИСТЫ В 1905–1910 гг.: «ПРАКТИКУМ» ПО ЛИБЕРТАРИЗМУ**

В процессе борьбы с самодержавным государством за идеалы социальной справедливости и подлинного народного самоуправления российские анархисты стремились не только к разрушению существующего эксплуататорского общества, но и к созиданию прогрессивной общественной альтернативы. Автор статьи поставил своей целью осветить именно конструктивные усилия отечественных антигосударственников по осуществлению принципов либертарного социализма, предпринятые в 1905–1910 гг.

Революция 1905–1907 гг. стала подтверждением многих радикально-либертарных постулатов российских анархистов. Кроме того, резкий скачок в политическом развитии народных масс дал идейным антигосударственникам прекрасную возможность для приложения своих бунтарских сил и реализации партийных замыслов. В работе «Русская революция и анархизм» духовный лидер отечественного анархистского движения П. А. Кропоткин с удовлетворением писал: «Еще вчера нам говорили: «Анархия, быть может, хороша для Западной Европы; но в России, где мы живем в осадном положении, нужна строго централизованная организация». Но при первом же дуновении революции эта мысль, казалось столь твердо установленная, уже успела рухнуть. Централизация русской социал-демократии не только не помешала, но роковым образом привела социалистическую партию к распадению на несколько групп, которых грызня, буквоедство и византийство отвратят от социализма рабочие массы. И наоборот, та мысль, за которую анархистов предавали анафеме, – мысль, что полная независимость каждой группы есть лучший залог единства, чем полное объединение отделов, и группа даст больше единства действия, чем централизация, – эта мысль оказалась до того верною, что все самое главное, что теперь делается в России, делается именно таким путем... Россия начинает представлять именно то, к чему мы всегда стремились, т.е. тысячи отдельных мелких и больших действий, начиная с движения, вызванного в Петербурге Георгием Гапоном и кончая какою-нибудь самою мелкою демонстрациею в глухом городишке или актом сопротивления... человека; единство действия получается не вследствие чьего бы то ни было руководства... все эти централистские утопии оказываются чистейшим вздором, как только дело доходит до революции» [1, л. 27, 32, 33]. По искреннему убеждению анархистского теоретика, спонтанный и децентрализованный характер русской революции вовсе не является проявлением социальной энтропии и аномии. Напротив, они обусловлены не только выстраданными, но и глубоко осознанными антикапиталистическими и противогосударственническими устремлениями народа. «Единство действия является вследствие того, – пишет П. А. Кропоткин, – что враг общества –

капиталист-эксплуататор и что главная его поддержка – государство с его чиновниками. В ту минуту, когда люди начинают бунтоваться, их усилия естественно, неизбежно оказываются направлены против капиталиста и против Государства. Единство действия дается единством стремления, цели, а не начальством. Эти действия исходят не из центра, а представляют плод самостоятельности, самостоятельного почина, анархического, безвластного восстания тысяч и тысяч людей, разбросанных по всей поверхности страны» [1, л. 33].

Антиправительственные выступления политизированных слоев населения зачастую оказались действительно анархическими, но далеко не всегда в том конструктивно-политическом смысле, который подразумевался П. А. Кропоткиным и его единомышленниками. Союз «рыцарей капиталистической наживы» и самодержавного государства также оказался намного более прочным и жизнестойким, нежели представлялось апологетам безвластного коммунизма. По этим причинам анархистам в ходе революции 1905–1907 гг. пришлось слишком часто использовать такие «искусственные» способы подстегивания революции, как экспроприации, покушения на жизнь «царских сатрапов» и даже безмотивный террор, который уносил жизни не только агентов государства, но и случайных людей. Именно такими эпизодами изобилуют разного типа публикации о деятельности анархистов в эпоху Первой русской революции. Вероятно, эскалация взаимного насилия со стороны противоборствующих сторон и нарастание разрушительных элементов в общественной жизни являются закономерным результатом неразрешенного кризиса в социуме. Однако не стоит сбрасывать со счетов и такое важное обстоятельство, что наиболее сознательные представители революционного лагеря (как беспартийные представители социальных низов, так и убежденные приверженцы тех или иных партийных программ) прибегают к активным (часто экстремистским) действиям не только с целью разрушения старого, но и с надеждой на созидание нового. Эта мысль вполне применима по отношению к радикально-революционной деятельности анархистов: в эпоху всеобщего «штурма и натиска» они не только прилагали невероятные усилия для превращения существующего эксплуататорского общества в руины, но и пытались, насколько позволяли обстоятельства, возвращать либертарные ростки новой справедливой жизни. При этом «апостолы безвластия» неминуемо покупались на «священную» частную собственность и демонстрировали непочтение по отношению к государственной власти, что зачастую влекло за собой обвинения в экстремизме и нигилизме, с одной стороны, и восхищение – с другой.

Так, в Варшаве в самом начале 1905 г. во время стачки пекарей анархисты захватили одну из пекарен и «явочным порядком» ввели в ней рабочий контроль. «Они руководили этой пекарней, удовлетворяли требования служащих, уплатили часть долгов и вели дело до тех пор, пока собственник не пришел с повинной, согласившись удовлетворить все требования рабочих» [2, с. 10]. Примерно в это же время белостокские анархисты и их сторонники провели еще более масштабную «социализацию»: они на какое-то время захватили местечко Крынка – месторасположение нескольких ткацких фабрик. Согласно описанию в журнале «Буревестник», «терроризированная полиция бежала, все правительственные учреждения, такие как почта, телеграф, конторы, были в руках восставших. Анархисты хотели конфисковать денежные суммы, но этому помешали «бундовцы», считая неприкосновенной «общест-

венную собственность» [2, с. 11]. И в дальнейшем Белосток продолжал оставаться полигоном для радикально-либертарных «экспериментов» приверженцев безгосударственного самоуправления.

Например, весной 1905 г. в пролетарских районах Белостока под идейным руководством группы анархистов-коммунистов была введена практика проведения массовых народных собраний, которые становились не только площадкой для агитационной активности, но и выполняли некоторые функции внегосударственного самоуправления. По свидетельству анархиста, бывшего активным участником событий, «кроме рефератов для членов группы и кружков для «сочувствующих», устраивались массовки от 300 до 500 человек каждая; почти каждый вечер на Суражской улице («биржа») начинались дискуссии, постепенно переходившие в митинги. Очень часто эти митинги, в особенности если выступал Стрига или Виктор (Ривкинд, казненный в Варшаве в числе 16), собирали по три и по пять тысяч человек» [3, с. 287]. В июне 1905 г. после трагических событий в Лодзи белостокские эсеры-максималисты предложили анархистам объединить силы для организации всеобщей стачки протеста. Но антигосударственники чувствовали себя настолько уверенно, что отказались от создания блока с левыми союзниками. Анархистам дело представлялось так, что их собственных усилий будет вполне достаточно, чтобы рабочее движение пошло «куда дальше обыкновенной стачки». Именно в это время лидер белостокской группы «коммунаров» Владимир Стрига (Лapidус) начал внедрять в умы своих товарищей по группе и сочувствующих идею «временной коммуны». «Предстояло захватить город, вооружить массы, выдержать тяжелый ряд сражений с войсками, выгнать их за пределы города. Параллельно со всеми этими военными действиями должен был идти все расширяющийся захват фабрик, мастерских и магазинов» [3, с. 288]. Чтобы получить оружие для осуществления военных задач своего плана, белостокские анархисты подготовили ряд экспроприаций, на большее сил уже не хватило.

Одним из очагов практической анархии в 1905 г. стал Урал. Первая группа анархистов (хлебовольческого толка) возникла в Екатеринбурге в 1904 г. Анархисты-коммунисты активно занялись пропагандой на Верхне-Исетском и Нижнетагильском заводах, а также среди крестьян Камышловского уезда. Возможность приступить к практическим радикально-либертарным экспериментам появилась в октябрьские дни 1905 г., когда боевая дружина анархистов объединила свои силы с автономной дружиной эсеров и при поддержке революционно настроенных масс перешла в наступление против местных властей. «Анархисты, вместе с рабочим населением, отовсюду выгоняли полицию, захватывали заводы и фабрики, организуя на них многолюдные митинги. Таким образом рабочие пользовались долгое время полной свободой слова, собраний – войска были мало надежны, а полиция боялась производить аресты и обыски» [4, с. 18].

Позднее, когда в революцию активно вступило крестьянство, анархисты попытались реализовать свои либертарные проекты и в этой социальной среде, причем кое-где не без успеха. Так, в 1906 г. в одном из сел Тифлисской губернии под влиянием анархистской пропаганды при содействии помещика, разделяющего взгляды анархистов, крестьяне, «решив владеть землей на коммунальных началах, уничтожили межи и заборы, разделяющие поля и виноградники, прогнали сельских властей и выстроили общественные

дома и пекарни; в городе они приобрели сельскохозяйственные орудия для ведения коллективной обработки земли» [5, с. 14]. Коммуна просуществовала около 9 месяцев, однако трудно было ожидать, что царские власти будут долго терпеть либертарно-коммунистические эксперименты на подведомственной территории. В конечном итоге грузинских крестьян вновь обратили в подданных, организаторы оказались за решеткой, а в общественных зданиях разместили казаков.

Примеры, подобные приведенным выше, не были многочисленными. Тем не менее, они подтверждают нашу мысль о том, что российские анархисты в своей деятельности руководствовались не только «духом разрушения», но и «духом созидания», энергично стремясь в условиях революции внедрить свои идеологические и организационные проекты в массы. Кое-где идеи безгосударственной и коммунистической самоорганизации находят отклик в достаточно широких слоях рабочих и крестьян, и именно там «экспериментальным» путем осуществляется апробация анархистских теоретических и практических установок, выявляются общественный вес указанной фракции освободительного движения, ее потенциальные возможности в борьбе со старым строем и созидании нового.

По мере таяния идейно-анархистских сил – в результате репрессий, вследствие морального разложения или по другим причинам – оставшиеся верные идеалам анархии активисты все больше отходят от работы в массах и всецело отдаются «боевой деятельности». Те немногочисленные попытки соединения либертарных идей с социальной практикой, которые осуществлялись анархистами в период реакции, либо сразу же попадали в поле зрения полицейского ведомства и пресекались «в зародыше», либо выливались в деятельность, несовместимую с принципами идейного анархизма.

Так, летом 1910 г. Департаменту полиции МВД стало известно об образовании среди анархистских организаций Юга России инициативной группы с целью создания разветвленной Анархистской федерации для борьбы с капиталом и государством. Предполагалось, что таким образом «все желающие работать анархисты» объединятся в структуру, которая «могла бы не только разрушать настоящее, но заключала бы в себе фундамент будущего» [6, л. 9]. В «деструктивном» арсенале предполагаемой Федерации перечислялись традиционные для левых радикалов методы и средства: террор, стачки, забастовки, экспроприации, разрушение государственных учреждений, массовые отказы от повинностей, участие в выступлениях рабочих для того, чтобы «развить эти последние в непрерывные революционные вспышки, которые должны будут наконец зажечь весь современный мир огнем революции» [6, л. 10 об.]. Параллельно с этим планировалась *созидательная* анархистская работа: организация крестьянских и пролетарских кооперативов, которые посредством меновой торговли обслуживали бы многообразные потребности синдикатов (профессиональных объединений) и союзов синдикатов. Не забыли идеологи «Инициативной группы анархистов Юга» и о таких ячейках будущего общества, как новые школы, где дети воспитывались бы в духе «ненависти ко всякому подчинению и к предрассудкам». «Фундаментом будущего» должно было послужить также организационное устройство Федерации, призванной включить в себя: 1) революционные синдикаты рабочих; 2) союз крестьянских братств; 3) союз братств солдат и моряков; 4) братство молодежи (учащихся) и 5) инициативную группу [6, л. 10 об.]. К сожалению,

по доступным нам архивным документам не удалось выяснить, насколько далеко анархисты Юга России сумели продвинуться в воплощении своего смелого замысла и насколько успешным оказалось совмещение деструктивных и конструктивных форм преобразования социальной действительности. Можно предположить, что Департамент полиции сделал все от него зависящее, чтобы прекратить «эксперимент» в самом начале. Тем не менее, показательно само стремление идейных антигосударственников проявить себя не только в качестве разрушителей эксплуататорского строя, но и в качестве строителей новых, справедливых и прогрессивных, форм общежития даже в столь неблагоприятных для либертарных инноваций условиях.

Впрочем, были в тот период и другие образцы «инновационной» активности анархистов, которые вряд ли можно отнести к разряду конструктивного либертаризма. Речь идет о попытках Льва Черного (П. Д. Турчанинова), изобретателя концепции «ассоциационного анархизма», внедрить свою теорию в жизнь. После амнистии, провозглашенной Манифестом 17 октября 1905 г., он перебрался из Восточной Сибири в Москву и приступил к агитационной и организационной работе, однако новообразованная группа «ассоциационеров» была очень быстро ликвидирована жандармами [7, л. 37 об.]. Следующую попытку подкрепить теорию практикой П. Д. Турчанинов предпринял в Туруханском крае, где он оказался осенью 1908 г. после ареста за подготовку крупной экспроприации и нескольких неудачных побегов с места отбывания наказания. «Здесь, на собраниях ссыльных, – гласит справка Охранного отделения за 1909 г., – а также и среди местных крестьян Турчанинов стал проповедовать идеи ассоциационного анархизма, сущность коего:

1) резкая критика существующего политического и экономического строя и образов правления разных государств;

2) отрицание всякой власти, хотя бы власти пролетариата (о каковой власти мечтают социал-демократы);

3) необходимость, в целях введения анархического строя, разрушения всего существующего строя посредством экспроприации капиталов и уничтожения всех государственных людей вплоть до верховных вождей в каждом государстве;

4) в будущем строе должны быть свободные союзы свободных групп в разных областях наук, искусства, торговли и производства, а также и в семейной жизни.

В духе этой теории и на началах «ассоциационного анархизма» Турчанинов выработал проект организации ссылки Туруханского края, причем в план этот непременно входило установление связи Туруханской ссылки со всеми местами ссылок в Сибири, как то: в Тобольской губернии, Якутской области и Нарымском крае – и введение в них такой же формы организации.

По отношению к мерам администрации Туруханского края план, выработанный Турчаниновым, носит чисто боевой характер: не подчиняться никаким распоряжениям администрации и, для противодействия ей, организовать в каждом станке (селении) вооруженные боевые группы.

Жизнь каждой колонии ссыльных Турчанинов проектировал установить тоже на ассоциационных началах, т.е. все материальные средства направлять в общую кассу и жить коммуной, организовать в каждой колонии библиотеки с чисто социалистической литературой, читать возможно чаще

рефераты по анархизму и вербовать сторонников анархизма, боевые же нападения устраивать не иначе, как группами» [7, л. 37 об. – 38 об.]. В конце 1908 г. теоретик ассоциационного анархизма организовал на месте ссылки «коммуну боевиков» в количестве 27 человек, которая до момента своего ареста в начале февраля 1909 г. успела совершить целый ряд убийств и грабежей [7, л. 38 об.]. Таким образом, стремление к вольной жизни в свободной социальной среде на практике вылилось в примитивный бытовой коммунизм и использование криминальных форм борьбы, что было обусловлено как авторитарно-репрессивным характером политического режима царской России (особенно явным в местах лишения свободы), так и максималистской, а в чем-то и прямо экстремистской, направленностью чаяний и действий «апостолов безвластия».

Таким образом, в ходе Первой русской революции и в последующие годы отечественные анархисты приложили немало усилий для того, чтобы перейти от слов к делу, чтобы на практике подготовить почву для осуществления радикально-либертарных лозунгов. В силу ожесточенности взаимного противоборства между репрессивным аппаратом самодержавия и «подпольной Россией» идейные антигосударственники были вынуждены отдать предпочтение экстремистским методам и средствам политической борьбы. Тем не менее, по мере возможности они занимались и конструктивной организаторской деятельностью, направленной на созидание ячеек будущего вольного общества, формирование более справедливых и демократичных социальных отношений.

#### *Список литературы*

1. ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 644.
2. **Р-в, Н.** Краткий очерк анархического движения в Польше, Литве и Лифляндии / Н. Р-в // Буревестник. – 1908. – № 9 (февраль). – С. 9–13.
3. **А. С.** Чернознаменцы и безначальцы / А. С. // Михаилу Бакунину. 1876–1926: очерки истории анархического движения в России : сборник статей. – М. : Голос труда, 1926. – С. 279–297.
4. **С.** Из хроники анархистского движения в Северной России (1904–1907 гг.) / С. // Буревестник. – 1908. – № 13 (октябрь). – С. 17–18.
5. **Горев, Б. И.** Анархисты, максималисты и махаевцы: анархические течения в Первой русской революции / Б. И. Горев. – Пг. : Книга, 1918. – 69 с.
6. Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. 918. Оп. 9. Д. 33.
7. ЦАНО. Ф. 916. Оп. 4. Д. 8.

## **ЛИБЕРАЛЬНОЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО: ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ**

В статье предпринята попытка формализации института либерального законотворчества думского периода в виде ряда структурно-логических схем. В них на основании комплексного анализа массива либерального законотворчества представлена система выявленных структурно-логических взаимосвязей.

Под законотворческой деятельностью либеральных фракций в Государственной думе (1906–1917) понимается совокупность теоретических и практических приемов политической деятельности российского либерализма, направленных на реализацию в политической практике либеральной модели реформирования России. Она включает в себя разработку общих принципов и методов преобразования общественно-политической системы страны, их инкорпорирование в партийную программатику, подготовку на их основе совокупности конкретных законопроектов и внесение их в Государственную думу с последующим политическим лоббированием и технической доработкой в рамках официальной законодательной процедуры.

Исходной теоретической базой формирования законотворческой деятельности либеральных фракций в Государственной думе явилась теоретическая деятельность виднейших представителей отечественного либерализма второй половины XIX – начала XX в. В этот период российская либеральная мысль не только разработала основные варианты продолжения реформирования социально-политического строя России, но и наметила вчерне те контуры законодательства, посредством которого и предполагалось осуществить намеченные масштабные преобразования. Различия между составляющими отечественного либерализма заключались в оценке оптимальных темпов предполагавшихся преобразований и в предлагавшихся механизмах участия общественности в этом процессе [1]. Впоследствии эти различия во многом предопределили границы его размежевания на конкретные политические партии (вопрос об отнесении к либеральному лагерю партии «Союз 17 октября» на протяжении ряда лет остается дискуссионным), подготовку партийных программ, ее отражение в конкретных пакетах законопроектов, внесимых партиями в Государственную думу.

Следующий этап становления либерального законотворчества органически связан с периодом формирования партийной программатики и хронологически совпадает с возникновением соответствующих либеральных партий, их конституированием, подготовкой программ законотворческой деятельности. Далек не все либеральные партии добились здесь ощутимых результатов. Конституционным демократам удалось совместить партийную программатику с перспективной программой думской законотворческой работы, одновременно представлявшей собой тактический план реализации либеральной модели реформирования страны. Но для партий, создававшихся во многом из тактических соображений и уже в ходе работы Думы, было характерно наличие достаточно формальной программы, содержавшей либераль-



ный символ веры и порою дословно повторявшей формулировки кадетов, а также включавшей в себя положения, позволявшие отграничить позицию партии от коллег по либеральному лагерю. Соответственно различались и партийные заделы в области предварительной наработки законопроектов. Однако при всем разнообразии партийной программтики данного периода в ней больше общего, чем отличного, свидетельством чему станет консолидированная позиция либеральных парламентских фракций на собственно думском этапе либерального законотворчества.

В настоящей статье предпринимается попытка в графическом виде представить основные структурно-логические связи, выявленные в ходе комплексного исследования либерального законотворчества думского периода (см. рис. 1–4). Автор вполне отдает себе отчет в том, что любое графическое представление является упрощением и влечет к абстрагированию от большинства частных деталей, тем не менее, представление в ограниченном объеме наиболее общих закономерностей такого масштабного явления, каким является либеральное законотворчество думского периода, представляется вполне оправданным и является приглашением к соответствующей дискуссии.



Рис. 1 Иерархия целей либеральной законотворческой деятельности

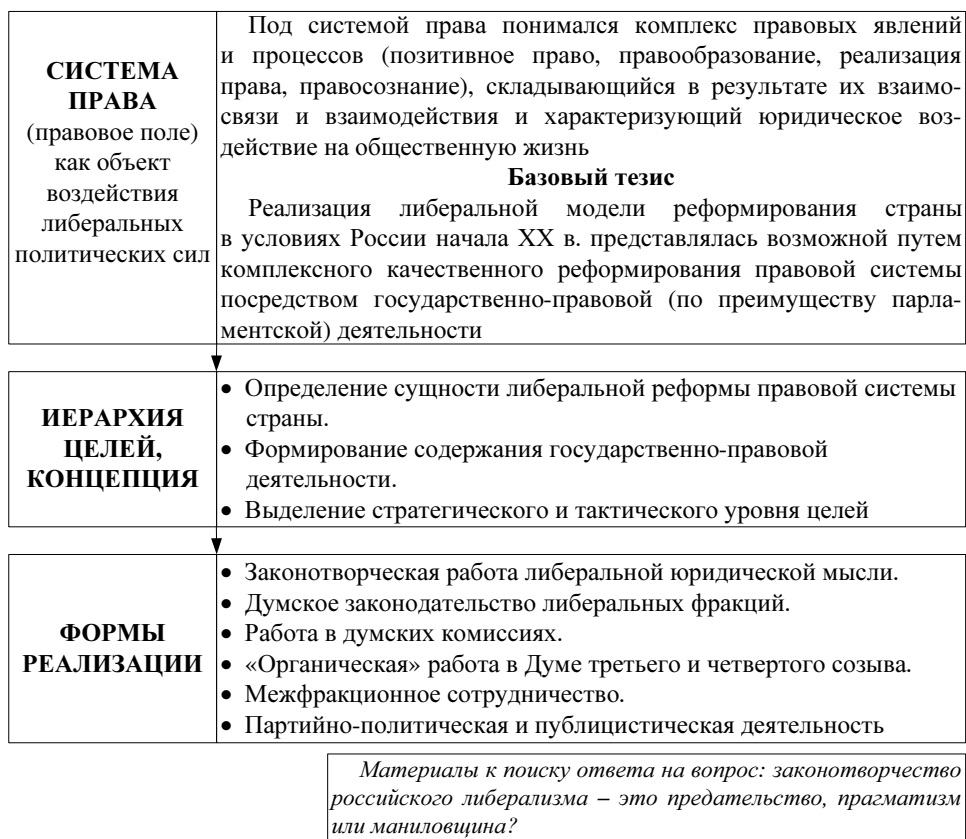


Рис. 2 Либеральная концепция правового реформирования страны посредством законотворческой деятельности



Рис. 3 Либеральная законотворческая деятельность

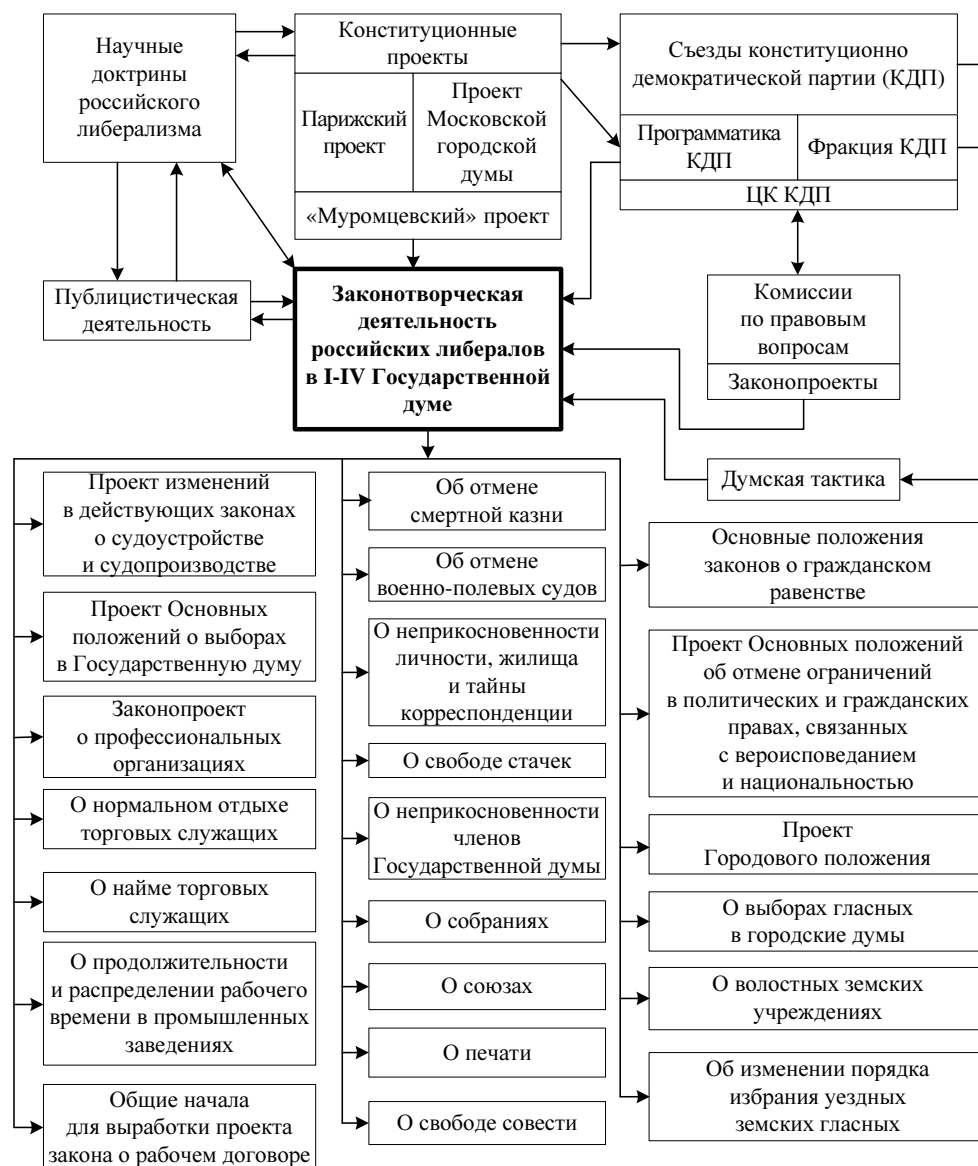


Рис. 4 Законотворческая деятельность российских либералов в Государственной думе (1906–1917) [2]

Оценивая законотворчество либеральных партий и их фракций в Государственной думе в целом, следует указать на то обстоятельство, что его представители в целом сумели соотнести новые теоретические подходы с потребностями социального развития общества и не только отразить их в партийной программатике, но и сделать составной частью своей практической политики.

В ходе практической парламентской деятельности либеральных партий в ее различных формах (от оппозиционного противостояния до деятельности в качестве «партии власти») был осуществлен перевод программатике на язык практического законодательства. Многие политические партии как России, так и других стран не дошли до данного этапа, оставшись на уровне декларативных норм, включенных в партийные программы.

Реформа социального строя страны, осуществляемая в ходе законотворческой деятельности, выступала в либеральной концепции альтернативной социальной революции, которая была открыто провозглашена главной целью ряда радикальных политических групп. Законотворческая деятельность выступала в качестве материального воплощения базового постулата классического российского либерализма, отвергавшего коренную ломку общественных институтов, а также весьма настороженно относившегося к идеям коренных реформ общественного строя.

Сама концепция комплексного преобразования общества, находящегося на кризисном этапе развития, посредством правовой реформы, разработанной в теории и воплощенной как в партийной программатике, так и во взаимосвязанном массиве проектов нормативно-правовых актов, заслуживает внимания не только как этап в политической и интеллектуальной истории страны, но и как теоретически обоснованный и проработанный способ выхода из кризиса ценой минимального социального напряжения.

#### *Список литературы*

1. **Шелохаев, В. В.** Дискуссионные проблемы истории русского либерализма в новейшей отечественной литературе / В. В. Шелохаев // Вопросы истории. – 2007. – № 5.
2. Законотворчество думских фракций. 1906–1917 гг. : документы и материалы. – М. : РОССПЭН, 2006.

А. Ю. Дунаева

## ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ В. Ф. ДЖУНКОВСКИЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ 1917 г.: ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ

Статья посвящена мало изученному периоду жизни Владимира Федоровича Джунковского (1865–1938) – известного государственного деятеля России начала XX в. На материалах личного фонда рассматривается поведение генерал-лейтенанта В. Ф. Джунковского, находившегося в действующей армии на Западном фронте, в экстремальной ситуации Февральской и Октябрьской революций 1917 г.



В. Ф. Джунковский

Февральская и Октябрьская революции 1917 г., смена политического режима в условиях военных действий, безусловно, явились экстремальной ситуацией для граждан России, особенно для тех из них, кто находился на острие событий, занимая ответственный пост, и вынужден был соотносить свои старые принципы работы с новыми политическими реалиями.

Война была основным катализатором революционного процесса 1917 г., и армия в конечном итоге решила судьбу революции. Поэтому именно командиры различных уровней оказались в наиболее тяжелой и даже трагической ситуации. Они вынуждены были считаться с демократизацией армии и фактическим двоевластием во время ведения боевых действий.

В данной статье в центре нашего внимания оказывается государственный деятель России начала XX в. Владимир Федорович Джунковский, который приобрел известность прежде всего как московский губернатор (1905–1913), товарищ министра внутренних дел и командир Отдельного корпуса жандармов (1913–1915). В 1915–1917 гг., находясь на Западном фронте, он занимал должности командира бригады, дивизионного начальника и командира корпуса.

На материале неопубликованных мемуаров В. Ф. Джунковского, хранящихся в его личном фонде в Государственном архиве Российской Федерации (Ф. 826), мы рассмотрим его поведение в ситуации революции. Воспоминания, охватывающие всю его служебную деятельность, Джунковский писал в советское время и продал их Центральному литературному музею в 1934 г.

Личность Владимира Федоровича, его губернаторство и особенно проведенная им реорганизация политической полиции привлекают внимание исследователей [1, 2]. Но военный период жизни Джунковского никогда не освещался подробно в биографических статьях о нем. Между тем обстоятельства, в которых он оказался в 1917 г., были самыми сложными за все время его службы. Их можно сравнить только с Декабрьским вооруженным восстанием

в Москве в 1905 г. Тем интереснее посмотреть на его поведение в экстремальной ситуации, которая всегда провоцирует раскрытие в человеке самых глубоких пластов его личности, во многом выявляет его истинную суть.

Получив военное образование в элитном Пажеском корпусе в Петербурге, Джунковский в 1884 г. был зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк, где получил чин поручика. С 1891 г. он служил адъютантом московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, в 1900 г. был произведен в капитаны, в 1905 г. стал полковником и флигель-адъютантом Свиты, в 1908 г. он был произведен в генерал-майоры Свиты. Выполняя свои свитские обязанности, Джунковский часто лично общался с Николаем II, заслужил его расположение, неоднократно получал подарки от царя. Владимир Федорович с гордостью вспоминал о своем последнем губернаторском отчете за 1912 г., представленном императору, на котором Николай II собственноручно написал слова, ставшие для него лучшей наградой на всю жизнь: «Выражаю мою искреннюю благодарность Джунковскому за примерное и блестящее управление Московской губернией» [3].

Однако в 1915 г. Владимир Федорович был отстранен от должности товарища министра внутренних дел и командира Отдельного корпуса жандармов после того, как сделал доклад императору по поводу неподобающего поведения Григория Распутина в ресторане «Яр».

По собственной просьбе он был отправлен в действующую армию.

Джунковский был назначен бригадным командиром 8-й Сибирской стрелковой дивизии. Но если офицеры сначала с любопытством и недоверием смотрели на свитского генерала, то для новобранцев, прибывших из Московской губернии, он оказался старым знакомым.

«Я велел им выстроиться, – вспоминал Владимир Федорович, – спросил, не помнит ли кто из них меня? На это раздались голоса, страшно тронувшие и взволновавшие меня: «Так точно, Вы изволите быть Жонковский, наш губернатор». «Вы приезжали к нам на новогодние». «Вы были у нас на освящении памятника». «Вы были у нас в школе». С большим подъемом провожали они меня, когда я с ними простился» [4, л. 21, 22]. Такую искреннюю симпатию Джунковский заслужил благодаря своей неустанной заботе о насущных нуждах населения, открытости для всех слоев общества и участию в судьбе конкретных людей. Немаловажную роль сыграла и ответственность перед законом, которая одинаково распространялась как на простого крестьянина, так и на него самого. Принципом, согласно которому «власть существует для населения, а не наоборот», Владимир Федорович руководствовался и во время губернаторского правления, и на военной службе.

Самым серьезным образом относился он к питанию солдат, проверяя запасы продовольствия и качество приготовляемой пищи. Заботился о надлежащем содержании лазаретов и оказании помощи раненым. Например, инспектор Дербышев, потерявший при разрыве снаряда оба глаза, был эвакуирован в Москву, по просьбе Джунковского Великая княгиня Елизавета Федоровна взяла его к себе в приют для слепых воинов.

Окончательное признание стрелков Джунковский получил после его боевого крещения недалеко от озера Нароч, когда он в течение 9 дней находился на передовой линии. О Джунковском стали слагать легенды. «Слушая эти рассказы, я убеждался, – писал Владимир Федорович, – как легко на войне давалась популярность, надо было только добросовестно самому ис-

полнять долг и заботливо относиться к подчиненным, входить в их нужды, смотреть на них не как на пушечное мясо, а как на людей, не сентиментальничая при этом и не играя на популярность. Больше ничего не требовалось, и за таким командиром люди пойдут куда угодно, будут переносить с ним всякие лишения, я не раз замечал, как вся эта серая масса необыкновенно чутка» [4, л. 200].

Своим добросовестным исполнением долга Джунковский заслужил уважение и офицеров, которые во время полковых праздников носили его на руках, и начальника дивизии генерал-лейтенанта А. Е. Редько. В приказе о переводе Джунковского на новый пост командующего 131-й пехотной дивизией он писал: «Я теряю незаменимо отличного помощника и человека, который, стоя отдельно высоко на пьедестале долга и службы... в то же время был высокогуманным начальником и прекрасным отзывчивым с добрым сердцем человеком» [4, л. 285].

Итак, спустя год после возвращения в армию 21 ноября 1916 г. Джунковский стал начальником дивизии, переименованной по его просьбе в 15-ю Сибирскую стрелковую. На новом посту он продолжал внушать офицерам необходимость непосредственного контакта с подчиненными. Офицер, по мнению Владимира Федоровича, должен был «интересоваться не только их службой в роте, но и домашней, семейной жизнью, быть другом, постараться, не популярничая, заслужить доверие и уважение, беседовать с ними всегда и везде – на досуге, на привалах, в походе, служить им примером в исполнении долга» [4, л. 298]. «Офицер в роте, – писал Джунковский в своих воспоминаниях, – должен почитать свое положение среди нижних чинов своего рода апостольством и не скрывать под спудом свое превосходство в знании и умственном развитии над нижними чинами» [4, л. 298].

Не жалея сил, Джунковский приводил в «христианский вид» лазареты для раненых, не жалел денег на приобретение походных церквей для полков дивизии. Все, что только можно было сделать для облегчения несения службы стрелкам, было сделано. К примеру, блиндажи и лисьи норы были освещены стеариновыми свечами, которые Джунковский лично выписывал на хозяйственные суммы из Петрограда прямо с завода.

Основной заботой начальника дивизии в течение 1916 г. был все ухудшающийся состав офицерства. «Скороспелые прапорщики без воспитания и образования были чистое горе» [4, л. 256]. Как пишет М. Френкин, об изменении социального состава офицерства за два года войны говорили абсолютно все очевидцы и участники тех событий [5].

В начале 1917 г. остро стоял вопрос об обеспечении дивизии продовольствием. Выручали старые связи: 27 февраля пришел вагон с подарками для дивизии от чинов Отдельного корпуса жандармов.

Ко 2 марта дивизия Джунковского «стояла стойко на позиции, свято и непоколебимо продолжая выполнять свой долг перед Царем и Родиной, переноса и невзгоды, и всякие лишения с полным самоотвержением».

«Мы были далеки от мысли, – писал он в воспоминаниях, – что в это время в Петрограде совершился уже переворот, что Государь отказался от престола, что монархия перестала существовать. Никаких слухов, никаких признаков не было» [6, л. 400].

Когда же известие об отречении императора достигло 15-й дивизии, Джунковский лично объехал все полки, команды и части дивизии, беседа со

стрелками, стараясь, чтобы они все узнавали непосредственно от своих офицеров, а не подпольными путями, требовал, чтобы ротные командиры постоянно общались со стрелками.

«В объезде всех частей я вынес впечатление, – писал Владимир Федорович, – что большинству происшедшая перемена в правлении России была безразлична, их интересовала она только с точки зрения продовольственной – будут ли их лучше или хуже кормить, другая часть, напротив, была очень рада новому режиму, жадно набрасывалась на газеты и на всякие известия, очень многие жалели государя, других шокировали крайности... они никак не могли с ними мириться. Все в один голос приветствовали назначение великого князя Верховным Главнокомандующим» [6, л. 12]. В полках Джунковский призывал помянуть молитвой бывшего государя, чтобы Господь помог ему перенести испытание и «чтобы принесенная им жертва способствовала бы счастью... матушки-России» [6, л. 10]. При этом сам он продолжал какое-то время носить вензеля с погонами отрекшегося государя и первые приказы после отречения подписывал следующим образом: «свиты генерал-майор».

«Мне было слишком тяжело сразу сбросить с себя звание «Свиты», по-прежнему как бы идеалы, которыми я жил. <...> Некоторых смущало, что я хожу в погонах с вензелями отрекшегося государя, других это коробило, большинство же с уважением относилось к этому», – писал Джунковский в 20-е гг. [6, л. 8]. Но в то же время он обратился к командиру корпуса с просьбой представить его к производству в генерал-лейтенанты, что автоматически сопровождалось снятием вензелей. Одновременно 21 марта последовало распоряжение из ставки об упразднении званий генерал-адъютанта, свиты генерал-майора и флигель-адъютанта. Джунковскому «пришлось во исполнение этого приказа снять свитскую форму, а с нею и вензеля» [6, л. 9].

11 марта последовал приказ принести присягу на верность российскому государству и повиновение Временному правительству, восстанавливающему это государство. «Этой присягой я как бы отрекался от всего, что читал с детства, – говорит Джунковский в своих воспоминаниях, – я работал над собой, чтобы этот разлад, происходивший в моей душе, не вырвался наружу, так как тогда я был бы не в силах сохранить дивизию от развала» [6, л. 24]. Теперь основная цель Джунковского как начальника дивизии была четко определена – сохранить боеспособность дивизии для дальнейшего продолжения боевых действий, что было очень непросто, т.к. одновременно 12 марта пришло распоряжение об учреждении в полках самостоятельных солдатских организаций и нужно было так руководить, чтобы выборные комитеты не отклонялись от своих задач и не вторгались в чисто боевую работу дивизии. Джунковский просил офицеров не отказываться от вступления в солдатские организации, поскольку лишь путем совместных собеседований можно было выработать «строгую организацию ради братства и победы над врагом» [6, л. 31].

Представитель Временного правительства известный кадет Н. Н. Щепкин прибыл на Западный фронт в марте и выступал перед стрелками Джунковского, призывая к поддержке Временного правительства и войне до победного конца. Он заставил Джунковского «забыть все, что накопилось в душе против него еще с 1905 г., когда он так вооружил его против себя своими резкими выступлениями» [6, л. 33 об.]. «Мы с Щепкиным обнялись тут же на трибуне, при прямо неистовых криках 7 тысяч солдат моей дивизии», – вспоминал Владимир Федорович.



Вскоре определилась и дальнейшая тактика поведения Джунковского в отношении комитетов – стремление к сотрудничеству для обеспечения боеспособности дивизии при строгом разделении властных полномочий в соответствии с действующими законами. В чем-то здесь можно провести аналогию с ситуацией с вензелями. Джунковский смирился с неизбежным, но в то же время в своих действиях опирался на новый закон. Причем те методы убеждения и аргументы, которые применял Владимир Федорович, вполне укладываются в концепцию «национальной идеологии», которую пыталась внедрить в сознание масс новая политическая элита. Как пишет современный исследователь И. Л. Архипов, новая «общенациональная идеология» может рассматриваться в качестве попытки элиты создать механизм политико-психологической адаптации к новым реалиям. Пропаганда нового политического менталитета «граждан свободной России» призывала людей быть достойными обретенной свободы гражданами, выполнять свой долг и подразумевала, что «свободный народ» будет впредь демонстрировать «единение», «сознание», «организованность», пойдет на самоограничение своих потребностей [7, с. 321].

Джунковский также не уставал повторять своим командирам и рядовым, что «чем больше дается свободы, тем больше требуется от каждого соблюдения порядка и законности» [8, л. 31], а также то, что права солдат не могут отменить их обязанностей и необходимости выполнять свой долг перед Родиной.

Еще в начале марта, объезжая полки и увидев на землянках саперной роты красные флажки, он внушал солдатам, что этот цвет означает не свободу, а кровь и красные флаги являются эмблемой кровавой революции. «У нас же, как известно, революция прошла бескровно» [8, л. 12], – добавлял Владимир Федорович.

Интересно, что празднование 18 апреля по новому стилю было приказано отметить как международный рабочий праздник. Солдаты 60-го полка обратились с претензией к Джунковскому по поводу отсутствия организованного праздника, и он предложил им самим составить программу и отметить 1 мая по-русски, т.е. по старому стилю. Праздник же оказался смесью старого с новым.

Поехав утром в полк, Владимир Федорович уже издали увидел длинную полосу флагов и стягов, которые целую неделю сшивали и вышивали солдаты, у всех офицеров и солдат на груди горел красный бантик. «Надписи были всевозможные, – писал впоследствии Джунковский, – и, к моей радости, ни одной против войны или за мир. По окончании молебствования священник о. Павел Мансуровский... сказал чудное слово, посвященное Первому Мая, с чисто христианской точки зрения, произведшее огромное впечатление. <...> Я предложил, чтоб каждый про себя подумал, считает ли он себя достойным праздновать этот день, и помнил, что звание свободного гражданина возлагает на каждого такового большую ответственность перед Богом в лице своей совести и перед Родиной» [8, л. 59 об.].

Здесь также ясно прослеживается переплетение архетипов патриархального религиозного сознания с новыми идеологическими установками, о котором говорит И. Л. Архипов, указывая на «наличие в зарождающейся мифологии «Свободной России» элементов традиционной православной культуры, в том числе ее символики и социолекта» [8, с. 149].

Однако Джунковский как начальник дивизии заслужил доверие и уважение прежде всего благодаря заботе о подчиненных, об их продовольствии, лечении, воздании должных почестей убитым, на погребении которых он всегда присутствовал лично.

22 марта на общем собрании дивизии по поводу выработки резолюции, которую выборные от дивизии должны были прочесть в Петрограде, было решено выразить благодарность Джунковскому за то, что он всегда отстаивал офицерские и солдатские интересы и заботился о стрелках. Постановление это было встречено бурными криками «ура». «Это меня очень тронуло, – писал Владимир Федорович, – тем более что я никогда ничего не делал для своей популярности, просто-напросто стремился исполнять только свой долг» [8, л. 39].

Несмотря на то, что случаи эксцессов в начале 1917 г. в дивизии Джунковского были единичными (братание с немцами, устранение от должности офицерами и солдатами командира 57-го полка, отказ от исполнения боевого приказа), он писал в донесении командиру корпуса, что «начальствующие лица и кадровые офицеры чувствуют себя как на вулкане, т.к. каждый из них отдает себе полный отчет, что достаточно малейшей неосторожности с его стороны... чтобы стихийно исчезло к нему все доверие солдатской массы.... Войска, стоящие на фронте, скорее пригодны для обороны, чем для наступления» [8, л. 47].

И хотя отношение к Джунковскому было лояльным, ему «приходилось все время следить за настроением... а иногда волей-неволей прибегать и к компромиссам, что для него всегда бывало особенно мучительно и тяжело».

В конце апреля у Джунковского наладились хорошие отношения с дивизионным комитетом. Все протоколы представлялись ему, и постановления приводились в исполнение только после его утверждения. Этот порядок, который ему удалось установить, способствовал сохранению порядка в дивизии.

В то же время Джунковский постоянно обращался напрямую к полковым и ротным комитетам, призывая их бороться против симулянтов, стремящихся попасть в тыл, и за поддержкой в борьбе за сохранение дисциплины и порядка. И здесь мы можем наблюдать тот отход комитетов от широких слоганов солдат, начавшийся уже в апреле 1917 г., о котором пишет в своей монографии М. Френкин [5, с. 78].

В июне 1917 г. Джунковский был вызван в Петербург для дачи показаний перед чрезвычайной следственной комиссией. В Петербурге он встретился с Керенским. «Никакой искры я в нем не заметил, – писал Владимир Федорович», – передо мной было просто ничтожество, у которого пороха больше не осталось, и все, что он говорил о войсках... только свидетельствовало, как он мало во всем этом смыслит и плохо разбирается. Ушел я от него с очень неприятным чувством, что Россия потеряна, к этому присоединилось еще и другое – чувство недовольства собой... мне казалось, что я сделал что-то плохое, кому-то изменил, отправившись к нему» [8, л. 97].

Между тем вести из родной дивизии не радовали: бригадный командир доносил об аресте полковника Элерца своими же солдатами и о других брожениях под впечатлением агитации с тыла и прибывшей из Петрограда пулеметной команды Кольта. Все ждали возвращения начальника дивизии как некой силы, способной повлиять на ситуацию. «Меня такая встреча очень тронула, – говорит Джунковский в своих воспоминаниях, – но и смутила,

слишком много надежд они возлагали на мое влияние, а я чувствовал, что мои нравственные силы постепенно уходят» [8, л. 98 об.].

Как всегда, действуя строго по закону, Джунковский передал все дело об аресте Элерца солдатами 58-го полка судебному следователю 9-го армейского корпуса и, по своему обыкновению, сам отправился на место происшествия, заходя почти в каждую избу, где размещались солдаты, пробуя пищу и обращаясь к некоторым с вопросами, чтобы лично убедиться в том, что в общем настроение солдат было хорошим.

В донесении командиру корпуса 28 июня 1917 г. Джунковский писал: «...дезорганизации способствовали и способствуют ряд последних распоряжений... вливание в части дезертиров из тыла, амнистированных каторжан, совершенно не служивших белобилетников и даже просто бродяг, подбираемых полицией. Среди офицерского состава в каждом полку имеются лица большевистского направления в лице прапорщиков, с которыми борьба при нынешних условиях невозможна, т.к. всякая пропаганда считается законной. Дивизия таким образом постепенно в дисциплинарном отношении разваливается. Дисциплины и порядка нет и восстановить их при всем желании нет возможности, можно только поддерживать равновесие» [8, л. 107]. К чести Джунковского следует сказать, что в своем донесении он ориентировался на дореволюционный период и оценивал состояние своего подразделения по самым высоким меркам. На самом деле по сравнению с другими дивизиями дела у него обстояли хорошо.

Как пишет исследователь М. Френкин, «в целом настроение войск представляло зачастую довольно пеструю картину» [5, л. 82].

Относительное благополучие дивизии Джунковского не нравилось существовавшему в то время Минскому фронтовому комитету, который образовался явочным порядком вопреки закону и хотел быть хозяином положения, не стесняясь, по словам Джунковского, никакими рамками и диктуя свои постановления низшим органам. «Армейский исполнительный комитет, – писал Владимир Федорович, – будучи органом Минского фронтового комитета, не мог никак успокоиться, что моя дивизия составляет исключение. Он и возбудил вопрос о необходимости созыва съезда в дивизии для выбора исполнительного комитета, предложив это на обсуждение дивизионного комитета. Комитет вынес постановление о созыве съезда» [8, л. 124 об., 125]. Командующий армией на записке, поддержанной командиром корпуса, наложил резолюцию «созвать съезд», что противоречило всем официальным приказам. «Это меня взорвало, – вспоминает Джунковский, – я решил немедленно ехать в Минск к главнокомандующему Фронтом, а если и там ничего не выйдет – в ставку с просьбой уволить меня» [8, л. 125 об.]. Решительность и негибкая принципиальность Джунковского возымели действие – съезд действительно был отменен.

Тревога за состояние воинской дисциплины усиливалось по мере роста радикальных настроений в обществе. В донесении командиру корпуса 30 августа 1917 г. Джунковский, в частности, докладывал, что сторонников Ленина среди солдат-большевиков много, их проповедь встречает сочувствие, пропаганда ведется сильная, хотя скрытая, настроение в массе совершенно безразличное, все текущие события волнуют небольшую группу людей. И в противоречие себе он добавляет: «Только вопрос питания интересует всех до единого и, конечно, вопрос о мире, каковой для них не безразличен... неко-

торых солдат возможность хотя бы благодаря суду уйти на время в тыл поощряет даже на преступления» [8, л. 144 об., 145].

В конце августа уже сам Джунковский получил анонимное письмо, в котором говорилось, что если солдаты с передовой не будут отправлены в тыл, то его жизни будет угрожать опасность. На это начальник дивизии открыто объявил по дивизии, что час его настанет не тогда, когда захочет этот негодяй, а тогда, когда будет угодно Господу Богу. «Я умру за Родину, – писал Джунковский, – никакая опасность, никакая угроза не заставит меня покривить душою или смалодушничать. Предупреждаю всех, что как я стоял на страже закона и долга до сих пор, так буду стоять и до конца войны, пока моих сил хватит нести взятый на себя долг защиты Родины, и никакие угрозы не заставят меня уклониться от своих обязанностей» [8, л. 141].

В начале сентября после почти годового командования 15-й Сибирской стрелковой дивизией Джунковскому было предложено принять командование 3-м Сибирским армейским корпусом. Его провожали представители всех частей дивизии, в том числе и солдаты, один из которых сказал: «Мы никогда не забудем нашего начальника дивизии, которого всегда можно было встретить то ночью, то днем без всякой свиты проходящего по окопам скромно, без всякого оружия, со своей кривой палочкой». «Последнее меня особенно тронуло, – писал Джунковский впоследствии, – я и правда всегда всюду хожу со своей палочкой, хожу с нею и по сей час, когда пишу эти строки 7 лет спустя» [8, л. 158, 158 об.]. Собрание офицеров, врачей и чиновников 60-го полка постановило учредить стипендию имени начальника 15-й Сибирской стрелковой дивизии В. Ф. Джунковского, чтобы на проценты с капитала воспитывались сироты погибших в настоящую войну воинов 15-й Сибирской стрелковой дивизии, «дабы они были постоянными молитвенниками за христиански любвеобильную душу достопочтенного Владимира Федоровича» [8, л. 158, 158 об.].

В качестве командира корпуса Владимиру Федоровичу пришлось решать те же задачи, что и в дивизии, но в большем масштабе и со все увеличивающейся интенсивностью. Отношения с корпусным комитетом так же, как и с дивизионным, сложились хорошо. Члены корпусного комитета помогали уговаривать полки, отказывающиеся идти на позиции. Каждый случай отказа от выполнения приказа и удаления командира Джунковский рассматривал в соответствии с действующими приказами (хотя в соответствии с ними власть командного состава продолжала уменьшаться) и всегда лично посещал бунтующие части, призывая прекратить митинги и начать работать. К этому прибавились и новые обязанности по подготовке выборов в Учредительное собрание.

Вести об октябрьском перевороте, как и о Февральской революции, пришли в корпус Джунковского с опозданием.

25 октября был получен приказ Керенского, содержащий перечень мер, необходимых для восстановления дисциплины и водворения порядка в частях армии и борьбы с большевизмом, который, по словам Джунковского, при поддержке фронтового и армейского комитетов все более и более захватывал массы. Его влиянию помогал противостоять корпусный комитет. «Благодаря этому и равновесие у меня в корпусе не нарушалось, – писал Джунковский, – и, глядя со стороны, все как будто было блестяще, позицию обороняли, брататься с немцами не ходили, по ночам ходили на разведки, а что касается ар-

тиллерии, то в боевом отношении она не оставляла желать лучшего, спуску немцам не давала» [8, л. 178].

К первым числам ноября, когда известие о падении Временного правительства наконец дошло до корпуса Джунковского, было издано новое Положение о войсковых комитетах, согласно которому власть командного состава умалялась еще больше. «Я старался всеми силами поддержать офицеров нравственно, входя в их положение, и мне удалось сохранить равновесие, – писал Владимир Федорович, – ни одного эксцесса насилия по отношению к офицерству у меня в корпусе не было. Я продолжал посещать окопы и тыловые учреждения, обрезаю уже в ноябре, когда развал вокруг был полный, корпусную хлебопекарню» [8, л. 179 об., 180].

Джунковский чувствовал, что его влияние еще не потеряно, что с ним считаются, и ему даже удалось наладить отношения с новым корпусным комитетом, во главе которого стоял большевик. Тем не менее, нервное напряжение дало о себе знать сердечным приступом, после чего он получил разрешение на 7-недельный отпуск для лечения на Кавказе, куда он намеревался ехать после выполнения своего гражданского долга и подачи голоса в Учредительное собрание.

Однако затем Джунковский решил ускорить свой отъезд, т.к. с 14 ноября фактически перестал командовать корпусом и не мог отдать ни одного приказа, не зная, будет ли он соответствовать новым взглядам, не последует ли свыше противоположное распоряжение.

Вести, полученные Джунковским впоследствии, подтвердили его худшие опасения: 15-я Сибирская дивизия, которой он прокомандовал почти год, после его отъезда стала разваливаться, причем 60-й Сибирский полк, который так трогательно провожал его, самовольно ушел с фронта для укрепления революции в тылу. То же случилось и с корпусом: большая часть самовольно разбежалась, а позже и комитет, и штаб, и остатки корпуса покинули позицию, уступив территорию немцам.

Таким образом, В. Ф. Джунковский в один из самых сложных периодов своей служебной карьеры, в экстремальной ситуации, угрожающей его жизни, остался верен всем тем нравственным и религиозным принципам, которыми он руководствовался ранее еще во времена своего губернаторства. Он до конца честно исполнял свой долг и в обстановке двоевластия всеми силами боролся за соблюдение закона, проявив самые достойные качества офицера русской армии, что помогло ему сохранить свою жизнь, достоинство и боеспособность его армейских подразделений. И хотя ситуации, описанные Джунковским, подтверждают уже известные факты, его опыт заслуживает внимания как пример того, что отношение к людям, основанное на принципах христианского милосердия, в какой-то степени смогло противостоять жестокости, хаосу, массивной пропаганде, хотя, конечно, не в силах было переломить общий процесс, происходивший в русской армии в 1917 г.

#### *Список литературы*

1. **Розенталь, И. С.** Страницы жизни генерала Джунковского / И. С. Розенталь // Кентавр. – 1994. – № 1. – С. 90–103.
2. **Пушкарева, И.** Джунковский и его воспоминания / И. Пушкарева, З. И. Перегудова // Воспоминания : в 2 т. / В. Ф. Джунковский. – М., 1997. – Т. 2. – С. 5–27.
3. **Джунковский, В. Ф.** Воспоминания : в 2 т. / В. Ф. Джунковский. – М., 1997. – Т. 2. – С. 114.

4. ГАРФ. Ф. 826. Оп. 1. Д. 58. Л. 21 – 22.
5. **Френкин, М.** Русская армия и революция 1917–1918. – Мюнхен, 1978. – С. 22.
6. ГАРФ. Ф. 826. Оп. 1. Д. 58.
7. **Архипов, И. Л.** Российская политическая элита в феврале 1917 года / И. Л. Архипов. – СПб., 2000. – С. 321.
8. ГАРФ. Ф. 826. Оп. 1. Д. 59.

**К. Н. ЛЕОНТЬЕВ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ**

В статье впервые в отечественной историографии дается развернутая характеристика взглядов К. Н. Леонтьева на национальный вопрос. Отмечается, что рефлексия этой темы проводилась мыслителем посредством применения цивилизационного подхода, обращения к традиционной русской духовности и соборности мироощущения. Для Леонтьева национальная политика настолько позитивна, насколько рассматривается в контексте религии, культуры и государственности, и, наоборот, противоестественно всякого рода заикливание на идее крови, рассматриваемой вне идеалов русской или любой другой цивилизации.

В 1862–1875 гг. Леонтьев сделал судьбоносное открытие о том, что мир состоит из ряда цивилизаций, которые представляют собой ограниченные во времени исторические образования. Каждая из них проходит через три стадии развития: первичной простоты, цветущей сложности и вторичного смесительного упрощения [1, с. 129] – и состоит из трех основных составляющих: религии, культуры и государственности [1, с. 473, 474]. Исходя из этого, можно выделить характерные черты леонтьевского мировидения: во-первых, с его точки зрения, для долгого и плодотворного бытия любой цивилизации необходимо внимание ко всем ее составляющим (следствием чего было негативное отношение мыслителя к абсолютизации каких бы то ни было оторванных от контекста явлений или идеалов, будь то человеческая свобода, экономика или этническое происхождение); во-вторых, актуальность, позитивность (или негативность) всякого явления различна в разные периоды существования цивилизации (поэтому «до дня цветения лучше быть парусом или паровым котлом; после этого невозвратного дня достойнее быть якорем или тормозом для народов, стремящихся вниз под крутую гору» [1, с. 134]).

В своих работах Леонтьев посвятил много времени как анализу подчиненных по отношению к цивилизации понятий «религия», «культура» и «государственность», так и совокупному рассмотрению статуса жителей каждой конкретной цивилизации. Именно здесь он выходил на изучение национального вопроса. На первый взгляд, как отмечал Константин Николаевич, дать определение нации очень просто: если знаешь географию и этнографию, филологию и национальную физиогномику, то понимаешь, что такое нация [1, с. 601]. Но при более пристальном рассмотрении приходит понимание, что в действительности дать определение нации очень трудно. Для этого нужно сначала понять, что такое племя. Оно представляет собой совокупность физиологических признаков, в первую очередь языка и крови [1, с. 657]. Но разве кто-нибудь имеет право свести понятие нации к вопросам языка (пусть даже столь великого и могучего, как русский) и крови (даже столь многочисленной, как китайская (ханьская))? Конечно, нет.

Пытаясь подойти к этому вопросу с другой (идеальной) стороны, мыслитель задавался вопросом: разве носители государственной основы цивилизации наряду с носителями религиозности и культуры не составляют нацию, ведь они представляют все три составляющих цивилизации? Думается, такой «арифметический» подход так же далек от понятия «нация», как и лингвистический.

тический или «гематологический». Нация не есть явление чисто физиологическое, но, тем не менее, она состоит из «носителей», т.е. живых людей, а стало быть нация является совокупностью идеального и материального.

В связи с этим Леонтьев представлял нацию графически, как площадь пересечения двух кругов: на одном написано «цивилизация» (т.е. совокупность религиозных, культурных и государственных отличий), а на другом – «племя» (т.е. совокупность природно-физиологических и лингвистических отличий). Чем более гармонично выглядит пересечение кругов племени и цивилизованности, тем более плодотворна нация. С одной стороны, перетягивая жизнь в сторону более идеальную, мы усиливаем в нации цивилизованный слой (хотя при этом не нужно забывать, что человеку нельзя полностью оторваться от своего тела, это уже было бы иллюзией в духе манихейства). С другой стороны, перетягивая жизнь в сторону «этно-природную, почти чисто-физиологическую», мы содействуем разрушению нации, превращению людей в животных, всеобщей ассимиляции [1, с. 608, 609].

В основе нации лежит идея, которую Константин Николаевич называл «национальностью», подразумевая идеальное наполнение совокупности носителей религиозной, культурной и государственной составляющих, т.е. то, что их объединяет, несмотря на разность служения. Но так как история существует только относительно времени, Леонтьев разделял настоящую идею нации и идею будущего как реальную и идеальную. Национальность, как писал он, это «какой-то идос... той нации, которую мы только что воображали себе во плоти». Когда речь идет о русской, европейской или китайской национальности, то вспоминаются такие общие качества или признаки, которые свойственны большинству людей, составляющих эту нацию, и совокупностью которых она отличается от других. Отсюда, чем эти признаки отчетливее, выразительнее, тем больше в нации национальности, т.е. совокупности уже приобретенных историческим развитием признаков. Национальность – это «отвлечение от нации; ее мысленная тень, ее отражение в нашем уме» [1, с. 601, 602].

Вместе с тем, существует и идеал будущего нации, т.е., по Леонтьеву, «национальный идеал» как совокупность еще не приобретенных национальных признаков, «представление той же нации в будущем». Национальный идеал – это «представление разных граждан об идосе будущей реальной нации». Неразличение национальности и национального идеала очень часто приводит к разногласиям о том, что представляет собой та или иная нация. Дело в том, что один из спорщиков в таком случае говорит о нации современной, другой же о той, которую он хотел бы видеть, и выдает желаемое за действительное.

Таким образом, Леонтьев различал идею цивилизации и «тело» этой идеи как сумму сделавшихся доступными восприятию пространственных и осязаемых ее выражений, уже осуществленных на практике. К этим выражениям относятся религия, искусства и науки, государственность, народы и города, экономические и общественные формы, языки, право, обычаи, характеры, черты лица и одежда, т.е. различные проявления составляющих цивилизации.

Движение же от национальности к национальному идеалу происходит за счет действий, осуществляемых нацией. Это движение есть проявление в людях «национального начала» как начала, действующего во имя идеи. Это проявление есть «национализм» [1, с. 602]. Необходимо выявить еще один



аспект: то различие настоящей, имеющейся на современном этапе национальности и будущего национального идеала, переход между которыми осуществляется посредством национализма, носит совершенно разный характер в зависимости от периода развития, в котором находятся нация и цивилизация. Если при зарождении, становлении цивилизации обретение национального идеала только впереди, то с обретением его было бы сущим самообманом некое «прогрессивное» мировоззрение нации, желающей улучшить свой национальный идеал. Нет, добытое в расцвете – вот то, что должно быть охраняемо во времена после расцвета, и этот идеал по праву можно именовать национальной идеей (русской идеей, европейской идеей, китайской идеей). Стало быть, прогрессивный настрой вначале и деятельное охранение все последующее время – задача национализма согласно Леонтьеву.

Далее, как писал мыслитель, исходя из того, что нация есть гармония между племенем и цивилизованностью, можно говорить о том, что национальная политика «должна и за пределами своего государства поддерживать не голое, так сказать, племя, а те духовные начала, которые связаны с историей племени, с его силой и славой». Она благоприятствует сохранению и укреплению стародавних культурных особенностей данной нации и даже возникновению новых отличительных признаков, и только такая политика и заслуживает названия истинно национальной [1, с.170]. Такая политика в межгосударственных и межцивилизационных отношениях есть внешняя сторона национализма. Нация представляет всю цивилизацию, а последняя имеет три составляющих. Поэтому не только политику чисто племенную, но и политику, абстрагирующую какую-либо одну составляющую, нельзя назвать национальной. Псевдонациональна, неполноценна не только просто государственная политика (цель – крепкое, богатое социальное государство) или политика, направленная лишь на развитие культурной самобытности, но даже и чисто религиозная или теократическая политика [1, с. 604, 605, 608].

Вообще, Леонтьев был убежден в том, что «национальное» бывает троякого рода: по происхождению, по усвоению и по пригодности. По определению «пригодно-национальна» сама цивилизация: нельзя передать свою цивилизацию кому-либо. Отдельные черты цивилизации могут быть «усвоенно-национальны». Это то, что называется культурным обменом и преемственностью. Так русская цивилизация усвоила византийское наследие. Наконец, национальное по происхождению – наиболее обширная категория [1, с. 667]. Именно благодаря ей русские пьют турецкий кофе, а японцы слушают Чайковского.

Как уже было сказано, для племени важна территория – земля исторического проживания, а «дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Ин., 3, 8). Но так как нация есть совокупность того и другого, то родина – это идеальное представление, связанное с определенной территорией, а патриотизм – отношение человека к своей родине. Естественно, что как космополитизм (атрофия чувства земли у бывшего представителя нации), так и гиперболизация вопросов «крови и почвы» (атрофия чувства идеального) есть искажения патриотизма (с уклоном только в разные стороны) и надругательство над родиной. «Что может быть лучше и благороднее патриотизма, и можно ли запретить человеку сочувствовать каким-либо успехам народа, из которого он вышел, любить свое отечество?» –

писал Леонтьев [1, с. 65]. Всякая цивилизация, как отмечал О. Шпенглер, «имеет свойственное ей понятие родины и отечества, трудно улавливаемое, трудно выражаемое словами, полное темных метафизических взаимоотношений, но, тем не менее, отмеченное вполне определенной тенденцией» [2]. Патриотизм по отношению к родине есть совокупность не только чувств, но и деяний – от любви к своей церкви, своей культуре, своей стране, до защиты своих идеалов, своей земли, своего имущества и представителей своего народа.

Напротив, важнейшим искажением традиции, характеризующим не только период распада европейской цивилизации, но и третий период любой цивилизации вообще, является племенизм<sup>1</sup> [3], низвергший идею нации до уровня вопросов крови и почвы. Леонтьев писал: «Что такое племя без системы своих религиозных и государственных идей? За что его любить? За кровь?» И что такое опора на идеал «чистой крови»? Духовное бесплодие: «любить племя за племя – натяжка и ложь» [1, с.108].

Не только идеологическая, но и терминологическая путаница стоит за явлением племенизма. Поэтому Леонтьев всячески уточнял национальную терминологию. Так, читая работы В. С. Соловьева, Леонтьев постоянно недоумевал по поводу либерального искажения национального вопроса даже в сознании столь значительного ума. В частности, он обратил внимание на следующие слова Владимира Сергеевича: «Что же... христианство упраздняет национальность? Нет, но сохраняет ее. Упраздняется не национальность, а национализм». Леонтьев в этих двух предложениях увидел множество неясностей, вытекающих из неразличения положительного (традиционного) национализма и отрицательного национализма – племенизма [4].

Явление племенизма многогранно, поэтому необходимо обозначить основные его разновидности. Сам по себе племенизм, по мнению Леонтьева, является парой к таким видам нетрадиционной реакции уставшей цивилизации на собственный надлом, как либеральная демократия и социализм. Другими словами, либеральное происхождение племенизма не вызывает сомнений. Он есть одновременно реакция на либеральное уравнивание наций и логичное развитие принципа свободы всего и вся: индивидуума, полов, наций, – ибо национальное начало, взятое «вне религии, есть не что иное, как все те же идеи 1789 года... идеи, надевшие лишь маску мнимой национальности» [1, с. 170]. Кровавая сущность племенизма не смущала его в этом понимании, ибо границы между моим «я» и «я» моего соседа в либерализме просто не существует, а стало быть, любые средства для моего «освобождения», как бы они ни были плачевны для соседа, для меня априорно хороши.

Поведение нации в условиях племенизма зависит от того, в каком государственном состоянии она находится: объединенном или раздробленном. Объединенная нация в этом случае пытается проявить себя, раздробившись на отдельные области (сепаратизм; например, в России так произошло с малороссийской частью русской нации, а в Испании – с басками), а раздробленная, напротив, пытается провести скорейшее слияние по признаку крови (так называемый принцип «национальных государств»; в Европе такая судьба постигла немцев и итальянцев).

---

<sup>1</sup> Термин введен нами на основе леонтьевской «племенной политики» и включает в себя нетрадиционные антинациональные движения в духе «крови и почвы», такие как нацизм, фашизм, расизм, русофобия и т.п.

В свою очередь, если племенизм есть положение нации по отношению к самой себе, то вслед за этнической гордыней возникает и закономерное следствие – этническое презрение к другим. Такая сторона племенизма есть расизм.

Нельзя не отметить, что, по мнению Леонтьева, племенизм, помимо прочего, обусловлен непониманием двух вещей. В современном мире считаются априорными истинами два тезиса: негативность политической зависимости народа и, наоборот, необходимость «национального самоопределения». Но это не так, что, собственно говоря, еще раз подтверждает либеральное происхождение нацизма, т.к. речь здесь ведется о положительной и безграничной свободе и сугубо отрицательной дисциплине.

Данилевский говорил о политической зависимости как о «историческом воспитании народа», об аскезе, заключающейся «в различных формах зависимости, которую выдерживает народ, предназначенный для истинно исторической деятельности». Великое психологическое значение этого явления заключается в том, что зависимость приучает народ подчинять свою волю какой-либо другой (пусть даже несправедливой), что полезно как умение подчиняться той воле, которая стремится к общему национальному благу. Понятия «расцвет» и «нация» всегда связаны с дисциплиной (сословной, налоговой, военной, служебной и т.д.), т.е. с тем формообразованием, без которого не сможет развиваться и содержание. Но раз искусство дисциплины дается народу временной зависимостью, то это, согласно яркому сравнению Николая Яковлевича, странствование по пустыне, посредством которого народ ведется из состояния простоты в обетованную землю цветущей сложности, и называется «историческим воспитанием народа» [5, с. 228, 229]. Нужно понимать, что привитие временными покорителями умения повиноваться не означает привитие ценностей покорителя. Завоевателя в первую очередь интересует расширение территории, и потому угасание народа в результате завоевания есть признак исторической судьбы, слабости народа, несвоевременного покорения, а никак не всецелая вина завоевателя. Леонтьев писал, что есть общее правило, согласно которому «воспитание людей какой-нибудь нации учителями другой более старой и более ученой нации никак не влечет за собою неизбежно подчинение интересов этой младшей и новейшей нации интересам ее воспитательницы» [1, с. 85]. Таким образом, в свете цивилизационной историософии временная зависимость молодой нации может нести и положительный эффект. Он проявляется в том, что скопленная за века зависимости потенция бурно проявляет себя во время объединения нации (как это и имело место в истории России, освободившейся от татаро-монгольского ига) или только некоторых ее областей (как это было в Элладе и Европе).

Чтобы понять, в каком случае зависимость полезна, а в каком нет, нужно вспомнить о трехстадиальности исторического развития. Значение политической независимости различается в зависимости от периода, в котором находится цивилизация. Плоды завоевания зависят от того, «в какой возраст нации и при каких обстоятельствах подпадает она под чужое иго» [1, с. 661]. Здесь не ставится под сомнение необходимость государства как признака цивилизации: государство как «тело», форма цивилизации – необходимый атрибут самобытного исторического типа. Как писал Данилевский, не существует ни одной цивилизации, которая бы зародилась и развилась без политической самостоятельности. Это закон исторического развития: «дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому типу, могла за-

родиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользовались политической независимостью» [5, с. 95]. Леонтьевым ставилась под сомнение лишь необходимость государственного суверенитета во все периоды развития.

Если народ завоеван «слишком поздно», т.е. в третьем периоде, когда национальная идея его уже износилась, то он иногда сохраняет свои особенности и под игом («достигнув уже известной силы, цивилизация может еще несколько времени продолжаться и после потери самостоятельности» [5, с. 96]), но уже никогда достойно не выступит на театре истории.

Если народ завоеван «вовремя», т.е. как можно ближе ко второму периоду, «когда особенности его уже окрепли, но еще не износились», он «и под игом будет обнаруживать очень долго признаки культурной жизни своей и, даже сбросив иго, разовьет свои национальные дары с небывалой дотоле силой». Нередко развивал эту мысль Данилевского Константин Николаевич, говоря, что «под временным игом происходит та благотворная приготовительная работа национальных сил, которая приводит позднее эти силы к самому пышному расцвету». Это стимул страдания: в тяжелых условиях зависимости «под влиянием общей скорби укрепляется в такой (вовремя поработанной) нации то внутреннее единение умов и сердец, которое позднее, после свержения ига, после изгнания иноземцев (или иноверцев), способствует установлению и внешнего государственного единства». Происходит единение нации, вдохновение народной поэзии: «эти стоны печали или восхваления борьбы не только оставляют неизгладимый след на всей позднейшей национальной литературе, но и сами по себе служат ее украшением» [1, с. 661]. Конечно же, пример зависимости цивилизации, которая находилась на полпути к эпохе расцвета, это Россия.

И, наконец, как писал Данилевский, если народ завоеван «в раннем возрасте развития, то, очевидно, что самобытность... должна погибнуть» [5, с. 97]. Леонтьев, в свою очередь, полагал, что «народ, подчиненный завоевателю слишком рано, не дорастает до национально-культурного состояния, не успевает выразить в истории свои национальные особенности» [1, с. 661]. И такой народ чаще всего остается лишь «этнографической примесью» истории: возможно, он создаст прекрасную культуру, но никогда не будет цивилизацией.

При рассмотрении явления национального объединения обнаруживается актуальность такого историсофского понятия, как «синхронизм». Дело в том, что Леонтьев был далек от отрицания положительной национальной эмансипации (например, Россия в свое время также прошла через это). Но в том-то и дело, что слияние разрозненных областей какой-либо цивилизации в одно государство бывает вызвано различными причинами в разные периоды развития и несет за собой различные последствия. Таким образом, объединение России в XV–XVI вв. и централизация Китая периода «сражающихся царств» под жесткой рукой Цинь Ши-Хуанди – это полусное явление по отношению к современному объединению Европы. Разница в том, что два первых объединения – признаки национального роста на подходе к периоду цветущей сложности, а последнее – признаки вторичного смесительного упрощения. Леонтьев писал, что «в те времена, когда освобождающиеся от чуждой власти народы были руководимы вождями, еще не пережившими «веаний» XVIII века, эмансипация наций не только не влекла за собой ослабления влияния духовенства и самой религии, но имела даже противоположное дей-

ствие: она усиливала и то, и другое». Потребности «русской племенной эмансипации» во времена великих князей XIV–XV вв. сочетались с правами веры, тем, что Владимир Соловьев назвал «Боговластием»; и освобождение русской нации от татарского ига, и последующее объединение не повлекло за собою ни религиозного индифферентизма высших классов, ни общего космополитизма. В XIX в., напротив, на первый план выходят «права человека, права народной толпы, права народовластия», и это, конечно, большая разница [1, с. 654, 655].

Оформление новой государственности позитивно только в первые два периода развития: как верно то, что полезное для одной цивилизации может вызвать взрывы в другой, так верно и то, что явление, положительное для одного периода, пагубно для другого. Здесь Леонтьев еще раз подчеркивал, что он выступает не против объединений как таковых, а «противу политики племенных объединений [которая] есть не что иное, как приложение всё той же общей теории предсмертного смешения к особому лишь частному случаю» [1, с. 607]. Первые два периода развития объединения (и изгнания завоевателей) несли положительный заряд, т.к. народный дух был движим высокими принципами, а «национализм имел в виду не столько сам себя, сколько интересы религии, аристократии, монархии». Поэтому нации становились разнообразнее и самобытнее. Теперь же, когда народы стали искать освобождения во имя единства и свободы самого племени, и результат везде получается однородный. Как удачно выразился Леонтьев, «национализм политический, государственный становится в наше время губителем национализма культурного, бытового» [1, с. 538]. Это происходит оттого, что «условия нынешней одновременности в высшей степени неблагоприятны для подобной обособляющей, национальной реакции».

Это просто понять на примере двух людей, в разное время выпущенных из узилища. Оба свободны, но ведь большая разница, в какое время их выпустили: в здоровое время или во время ужасной эпидемии. Во время эпидемии человек, «вероятно, в затворе своем был бы целее», а значит, племенизм противен национальной самобытности, потому что влияние «всеобщих космополитических вкусов слишком сильно» и «эпидемия еще не окончилась» [1, с. 652].

Показательными здесь являются события, приведшие к созданию объединенной Германии и единой Италии. Русские основатели цивилизационного подхода предвидели нацизм и фашизм за полвека до их появления на почве, взрыхленной «национальными» движениями. Данилевский еще в середине XIX в. писал, что рост числа немцев, которые «только от единой спасительной германской цивилизации чают спасения мира», – весьма опасный симптом [5, с. 57]. Леонтьев, наблюдая за *kulturcumprf* в Германии, говорил, что борьба эта «несправедливо была названа «культурной», ибо на стороне [папского] Рима есть своя культура, а на стороне либерализма, кроме медленного и пошлого разрушения, нет еще пока ничего». Он писал: «Неудобства и зло, вносимые католицизмом в жизнь Германии при старых порядках, не помешали германским народам прожить государственно более 1000 лет (считая, например, от Карла Великого)... подарить человечеству столько великих творений по всем отраслям мысли». Освобождение Германии – еще не залог бурного развития [1, с. 237]. Дело здесь в том, что все государства средней и южной Германии, за исключением католической Баварии, политически уже

умерли. На высоте оказалась только Пруссия, имеющая набожного и всевластного короля, плохую конституцию (т.е. дававшую «возможность власти делать дело»), привилегированное и воинственное юнкерство. В такой ситуации объединения единственного самобытного частного Пруссии с другими уже несамобытными частными получилось регрессивное общее, уничтожившее влияние прусской аристократии и католической церкви. В итоге «аристократическая и поэтическая Пруссия безумно расплывается в либеральной, растерзанной, рыхлой и неверующей все-Германии; она забывает, что если раздробление было иногда вредно единству порядка, то за то же оно было и несподручно для единства анархии» [1, с. 141, 143]. Леонтьев увидел в торжествующей и почти объединившейся Германии немедленно начавшееся «глубокое социальное брожение» [1, с. 175]: как только к власти стали допускать по этническому признаку, усилился атеизм и анархические наклонности людей, т.е. объединение подвело нацию к внутреннему отторжению традиции. Тот факт, что национально-государственное дело в Германии стало «чисто племенным, вне религии стоящим», очень насторожил Константина Николаевича. И здесь он дал четкий прогноз: чем быстрее Германия присоединит австрийских немцев, тем это «дело» станет еще более «безосновным в религиозном отношении, тем сильнее выразится чисто племенной характер германского национального единства». Высказывание Вильгельма II о том, что «необходимо поддерживать в солдатах религиозное чувство, но при этом обращать внимание не на различие догматов, а на нравственную сторону дела», было недвусмысленно истолковано Леонтьевым как признак новых кровавых событий. Сначала происходит внутренний переворот сознания, и лишь потом следуют революции и захваты, а отделение морали от религии (характерное для этого высказывания императора) всегда было знаком приближающейся угрозы. «Куда это ведет? – размышлял Леонтьев. – Ведь и Робеспьер заботился о Верховном Существом и о чистой этике... наши желябовы внимали голосу собственной совести» [1, с. 606].

Константин Леонтьев буквально взывает к нам сквозь столетия: Россия не выживет только лишь как оплот духовности или как средоточие великой культуры либо сильной государственности; необходимо совокупное, гармоничное развитие всех составляющих русской цивилизации, максимально абстрагированное от разрушительной абсолютизации идеалов свободы, «социального государства» и «чистой крови».

#### **Список литературы**

1. **Леонтьев, К. Н.** Восток, Россия и славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891) / К. Н. Леонтьев, общ. ред., сост. и коммент. Г. Б. Кремнева; вступит. ст. и коммент. В. И. Косика. – М., 1996.
2. **Шпенглер, О.** Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Образ и действительность / О. Шпенглер; пер. с нем. Н. Ф. Гарелина; вступ. ст. А. П. Дубнова; коммент. Ю. П. Бубенкова и А. П. Дубнова. – Новосибирск, 1993. – С. 438.
3. **Емельянов-Лукьянчиков, М. А.** Концепция «племенизма» К. Н. Леонтьева в цивилизационной историософии XIX–XX веков / М. А. Емельянов-Лукьянчиков // Вопросы истории. – 2004. – № 9.
4. **Соловьев, В.** Великий спор и христианская политика / В. Соловьев // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Д. 1256. Л. 14.
5. **Данилевский, Н. Я.** Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. – М., 2003. – С. 95.

## **ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ: ИСТОРИКО-КОММУНИКАТИВНЫЙ АНАЛИЗ**

В статье предложен анализ российского опыта взаимодействия государственного управления и местного самоуправления на основе историко-коммуникативного подхода. Автор обосновывает необходимость в рефлексивной парадигме государственной власти.

Уже давно замечено, что на крутых поворотах общественного развития в России всегда возрастал интерес к истории. И это не случайно: обращение к историческому прошлому – это способ ориентации современного общества в социокоммуникативном и историко-временном пространстве, определения своего места в нем<sup>1</sup>. В настоящее время, когда в Российской Федерации ведется полномасштабная реформа местного самоуправления, вполне естественным являлось бы обращение исследователей, а самое главное, законодателей и непосредственных практиков (руководителей государственных и муниципальных органов власти и управления) к анализу отечественного опыта взаимоотношений государственного и местного управления.

Согласно немарксовской и другим парадигмам науки, любая власть, во-первых, должна быть идентична народному менталитету, запросам коллективного бессознательного; во-вторых, исходить из концепции единства объективной связи прошлого, настоящего и будущего. По этому поводу в конце XIX в. российский государственный деятель и исследователь В. П. Безобразов прозорливо писал: «Для того, чтобы выбрать точную модель управления, необходимо изучить прошлое самоуправления, его практику, и только из такого прошлого можно понять настоящее, чтобы верно идти к будущему, к переустройству местного самоуправления на основании практических нужд самой жизни» [2].

В данной статье актуализируется проблема анализа отечественного опыта взаимоотношений государственного управления и местного самоуправления в дореволюционной России с позиций социальной информатологии. В качестве методологического ключа исследования используется историко-коммуникативный подход. Он включает в себя в данном случае синтез исторического и социокоммуникативного методов исследования коммуникативных основ взаимоотношения государственной власти и местного самоуправления в дореволюционной России. «Поиск истины в исторической судьбе России заставляет обратиться в глубину веков» [3]. Данный подход позволяет сфокусировать внимание на коммуникативно-информационной составляющей в сущности взаимоотношений этих двух уровней. При написании статьи учитывался широкий спектр источников по истории российского государства, а также использовались идеи и выводы исследователей в облас-

---

<sup>1</sup> Всероссийский опрос ВЦИОМ, проведенный в июне 2006 г., показал, что 57% респондентов считают, что основным предметом гордости за страну является именно наше прошлое, наша история [1].

ти отечественной истории, государственного и муниципального управления, государственно-правовых отношений, политологии, социологии и социальной информатиологии.

Проблема организации местного управления была актуальной для центральной власти на протяжении всей истории России – со времени складывания Древнерусского государства. Этому способствовали известные природно-географические и геополитические факторы: беспрецедентно обширная территория государства, огромные расстояния, полное отсутствие проезжих дорог и средств связи, низкая плотность населения, открытые границы, соседство степных народов и враждебных государств. Сложные пути объединения огромной территории, населенной многими народами с различными историческими традициями, конфессиональным и этническим менталитетом, скудные природные условия, тяжелейшая геополитическая ситуация на протяжении всего периода существования российской государственности во многом предопределили неотвратимость мобилизационного пути развития России, который могла обеспечить только сильная центральная власть и тоталитарный (деспотический) политический режим. Таким образом, географическое месторасположение России во многом повлияло на основные параметры генезиса коммуникации центральной и местной власти в нашем государстве.

Общественное местное самоуправление старше государственного, оно является фундаментом государственной власти. В основе местного самоуправления лежит первичная социальная коммуникация – необходимость организации совместного труда и обороны от внешнего врага, т.е. обеспечение условий выживания местного сообщества. Глубинная коммуникативная сущность самоуправления как формы народовластия заключена в том, что данный способ управления основан на самоорганизации, саморегулировании и самодеятельности и, следовательно, исключает необходимость применения специального аппарата принуждения. Как форма гражданской самодеятельности общественное самоуправление проявляется в социально-коммуникативной активности населения, его способности участвовать в управлении общественными делами и нести за них ответственность.

На местном уровне, где население проявляет прямую заинтересованность в решении насущных вопросов повседневной жизни, где закладываются основы понимания собственной ответственности за свою судьбу и формируется общественное сознание, эффективная социальная коммуникация может существовать только в форме диалога между органами управления и всем сообществом. Более того, именно эффективность социальной коммуникации на уровне местного самоуправления, ее значимость для самосохранения и саморазвития данной территории и ее населения являются важнейшим индикатором зрелости гражданского общества. Еще в середине XIX в. крупный теоретик местного самоуправления Б. Н. Чичерин писал: «Местное самоуправление служит школой самодеятельности народа и лучшим практическим приготовлением к представительному порядку» [4].

Государственный институт возник как наемный орган, призванный выполнять определенные управленческие функции для целого ряда самоуправляющихся общин. «Призванные» на основе договоров с союзами местных племен первые варяжские князья признавались носителями верховной власти настолько, насколько они обороняли землю извне и поддерживали в ней существовавший порядок. В их компетенцию не входили полномочия по созда-



нию каких-либо коммуникативных основ новых общественных отношений, т.к. данные полномочия еще не были закреплены ни в действовавшем праве, ни, что было гораздо важнее, в общественном сознании местных жителей [5]. То есть на начальном этапе существования Древнерусского государства доминантным субъектом в коммуникативной системе «государственная власть – местное самоуправление» выступало именно самоуправление как первооснова, первоисточник государственной власти.

Оптимальное соотношение двух компонентов в коммуникативной системе «государственная власть – местное самоуправление» представляет собой сложную практическую и теоретическую проблему, которая решается по-разному для тех или иных обществ на разных стадиях их исторического развития. Существуют три научные парадигмы и альтернативы социального управления, три стратегии социального влияния: механистическая модель, манипулятивная и диалоговая. Они «находят свои структурообразующие аналогии в исторически сложившихся парадигмах власти – тоталитарной, авторитарной и либерально-демократической» [6]. Отсюда вполне правомерно применить принцип «структурообразующей аналогии» к исторически сложившимся парадигмам (моделям) взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления.

Как показывает мировой опыт, есть два способа управления большими территориями. Первый – диалоговый, когда значительную роль играет местное самоуправление, выбранное населением и отчасти контролируемое из центра. Второй – тоталитарный, при котором сверху донизу административная власть, назначаемая из центра, подавляет всяческое самоуправление. Для понимания информационно-коммуникативной парадигмы важно подчеркнуть, что определение модели зависит прежде всего от состояния взаимодействия (коммуникации) объекта с субъектом и субъекта с субъектом. При этом заметим, что на практике одной «чистой» модели информационно-коммуникативного воздействия субъекта на объект и их взаимодействия не бывает. Следовательно, не бывает и «чистой» модели коммуникации государственной власти и местного самоуправления. Чаще действует смешанная модель, но доминирующей является одна.

Уже на первом этапе формирования российского государства, т.е. во времена Киевской Руси, зарождаются те основные коммуникативные начала взаимоотношения центральной и местной власти, которые, естественно видоизменяясь на каждом очередном этапе развития, проходят через всю его историю. Имеется в виду прежде всего переплетение двух волн: выборность–назначаемость и централизация–децентрализация. При этом сочетание выборности и назначаемости, как правило, было еще и сочетанием уровней государственного управления. Самый низший уровень управления (деревня или несколько деревень, город или пригород) подразумевал выборность местного самоуправления, а более высокие этажи управления чаще всего формировались на основе назначаемости [7].

Создание и укрепление местного самоуправления в России как института, отражающего прежде всего интересы местного населения, никогда не было самоцелью для центральной власти. Местная власть – как только вынуждали обстоятельства – учреждалась «сверху» и в интересах центра. Главной целью местного управления, согласно точке зрения государственной власти, было превращение территорий страны в наиболее легко управляемые части

единого целого и максимальное извлечение из них доходов. Соответственно, можно говорить о том, что история взаимоотношений двух элементов коммуникативной системы «государственная власть – местное самоуправление» в дореволюционной России – это история поисков оптимальной, эффективной манипулятивной или тоталитарной модели руководства страной, при которой провинция как можно лучше будет удовлетворять интересам центра. При таком концептуальном подходе ни центральная, ни местная власть не реализовывала, используя терминологию Н. Лумана, свою коммуникативную сущность, не являлась доверительным средством коммуникации, она полностью теряла свою связь с общественным мнением как средством обратной связи и эффективного управления.

В «Повести временных лет», основном письменном источнике по истории древнерусского государства, доносящем до нас терминологию, типичную для народной ментальности тех времен, Киевская Русь первоначально выглядит как конфедерация нескольких *земель*<sup>1</sup>, объединенных под властью киевского князя, но имеющих свое собственное внутреннее управление. Первым киевским князьям постоянно приходилось сталкиваться с сепаратизмом различных племен, и они начали постепенно выстраивать информационно-коммуникативные отношения с ними по своим правилам, создавать механизм контроля над местной властью, в том числе и с помощью информационно-коммуникативной политики. Этот процесс растянулся на весь X в. и завершился при князе Владимире I [10], посадившем своих сыновей в крупнейшие города Руси. С принятием христианства начинается постепенное утверждение канонических христианских представлений о соотношении государственной власти и местного управления. Как отмечал В. О. Ключевский, «на киевского князя пришлое духовенство переносило византийское понятие о государе, поставленном от Бога не для внешней только защиты страны, но и для установления и поддержания внутреннего общественного порядка» [11]. Вот она, информационно-коммуникативная политика государственной власти в действии!

Однако даже в XII в. центральная власть имела довольно условное, ограниченное значение и не являлась доминирующим субъектом в процессе коммуникации с местным самоуправлением, т.к. князья были не полновластными государями. Они являлись лишь военно-полицейскими, судебными и сакральными правителями и вынуждены были в процессе управления вести диалог как с местной родоплеменной знатью, так и с представительным органом народного самоуправления. Освященный традицией коммуникативный механизм взаимодействия государственной и местной власти предусматривал следующие ритуалы. Вступление в престолонаследие каждого из киевских князей (в период политического мира) подтверждалось публичным одобрением как со стороны знати (боярского совета), так и городского населения (веча) [12]. Каждый князь должен был находить согласие с вечем. Обе стороны «целовали крест», обещая друг другу соблюдать условия соглашения. К сожалению, не сохранилось ни одного подобного договора-соглашения, но в древнерусских летописях есть краткие упоминания о некоторых из них. На-

---

<sup>1</sup> Термин «земля» употреблялся тогда не в географическом смысле, а в значении «народ», «государство». Этот термин был обычным для обозначения государства на протяжении всего киевского периода [8, 9].

селение всякий раз выражало недовольство, когда князь своими действиями приводил страну к бедственному положению либо тем или иным образом притеснял народ [13]. Таким образом, наряду с манипулятивной парадигмой коммуникации государственной власти и местного самоуправления, продолжала существовать, а в некоторых случаях даже превалировала диалоговая модель.

В дальнейшем процессе развития разрастающиеся функции государства требовали все большего вмешательства в дела местного самоуправления. Постепенно произошло отчуждение государства от общества [14], что привело к коммуникативному разрыву между ними. Государство встало над обществом, а самоуправление в течение долгого времени сохранялось лишь в форме крестьянских и городских общин. Но государство, активно продолжая движение в сторону тоталитарной модели коммуникации с обществом, начало заставлять служить своим интересам и общину – первичную социально-коммуникативную общность в русском государстве. На нее возлагались «тягловые» (финансово-налоговые), полицейско-фискальные, судебно-административные («холопские дела») и хозяйственные (содержание и ремонт дорог, мостов и т.п.) функции, которые как весьма обременительные для себя государственная власть стремилась сбросить «вниз»: разверстки, исполнение разнообразных повинностей, сборов. Так община постепенно все больше превращалась из органа местного самоуправления в низшее звено государственного управления, что подчеркивало процессы нарастания централизации и унитаризации государственной власти и еще больше усиливало механизм коммуникативного отчуждения власти и общества.

Уже первый русский свод законов, относящийся к XII в., устанавливает обязанности общины по отношению к государству. В «Русской правде» зафиксировано, что общинники связаны между собой своего рода круговой порукой и участвуют в уплате так называемой *дикой виры*<sup>1</sup>. Княжеская власть возлагала на общину и некоторые судебно-розыскные функции, например поиск убийцы, вора [15]. С объединением Московской Руси (XIV–XV вв.) выборных представителей городского, пригородного и сельского населения (сотских, окладчиков и старост) центральная власть стала привлекать к осуществлению таких полномочий государственного управления, как раскладка казенных податей и повинностей, а также сбор кормов, шедших руководителям местной администрации.

Вплоть до XVI в. общественное самоуправление на уровне местных структур не было нормировано законом и фактически развивалось на основе народного обычая, сложившихся традиций [16] (роль фактора ментальности!). Поэтому говорить о местном самоуправлении в России как об особой форме управления определенной территорией, когда местное население избирает должностных лиц, можно, пожалуй, с момента земской реформы Ивана IV. Тогда местное самоуправление отделилось от государственного управления (по воле самой государственной власти) и приобрело четкие формы, строго регламентированные государством. При этом государственная власть, рассматривая всю территорию страны в качестве вотчины государя, присвоила себе роль главного, скорее даже единственного субъекта социальной коммуникации и считала себя вправе устанавливать или изменять в соответствии

<sup>1</sup> Дикая вира – штраф за убийство, который вносился коллективно в соответствии с мирской разверсткой.

с собственными интересами правила коммуникации с местной властью и местным сообществом. Главной идеей Указа Ивана IV «Приговор царской о кормлении и о службах» (1555–1556) было то, что за самоуправлением признавался статус *службы царской*, основанной на принципе: «безо лжи и без греха вправду», службы, делегированной на места верховной властью. Встроенные в вертикаль власти, земские и губные органы самоуправления были призваны обеспечить функционирование государственной власти и ее коммуникацию с местными сообществами на низовом уровне. Таким образом, самоуправление признавалось «государевой службой» и именно так рассматривалось как центральной властью, так и сословными группами российского общества.

На правах главного субъекта социальной коммуникации центральная власть присвоила себе и право устанавливать правила коммуникации органов местной власти и местного сообщества, причем исходя исключительно из своих собственных интересов. В результате земской реформы Ивана IV к компетенции земских старост был отнесен сбор прямых налогов. Сбор косвенных налогов и таможенных пошлин, налогов с питейного дела, с соляных и рыбных промыслов отдавался *на веру*. Для этого местные земские сообщества должны были выбирать из своей среды так называемых *верных* (присяжных) голов и целовальников, к полномочиям которых был отнесен сбор таких налогов. Правильность и четкость данной деятельности обеспечивалась не только принципиальностью и личной порядочностью «верных» людей и присягой, скрепляемой «целованием креста», но и имущественной ответственностью сборщиков и поручительством соответствующих земских сообществ. Например, если верный голова с целовальником не собирал заранее определенной или предполагаемой суммы казенного сбора, то они были обязаны за счет собственных средств (причем в двойном размере) покрыть недобор. Если названные должностные лица не обладали такой возможностью, то недостача покрывалась совместно с избравшим их земским обществом. Таким образом центральная власть сознательно делала ставку на коммуникативный разрыв между местной властью и местным сообществом. Так было легче «держать в узде» и народ, и выборных должностных лиц местного самоуправления.

Думается, что вполне обоснованно можно говорить о том, что по мере укрепления государства центральная власть постепенно переходит от диалоговой парадигмы к тоталитарной: становится сначала доминирующим, а затем и единственным субъектом социокоммуникативного пространства, определяющим правила своего взаимоотношения с местной властью и самоуправлением.

В то же время надо констатировать, что российские правители прекрасно осознавали, что без социального партнерства (в российской общественно-политической практике всегда поставленного в жесткие рамки), без диалога с народом (хотя и строго дозированного и управляемого властью) власть теряет свои главные функции руководства и управления. Ретроспективный социокоммуникативный анализ опыта развития государственного и местного управления в России периода Московского царства и империи выявляет следующую закономерность: интерес к органам местного самоуправления усиливался у центральной власти в переломные периоды истории страны (осложнение внешнеполитической и военной ситуации, необходимость восстановления народного хозяйства или ускоренного развития эконо-

мики и т. д.). Местное самоуправление вводилось волей центральной власти «как следствие осознанной правительством необходимости» [17]. И вводилось прежде всего тогда и там, когда и где требовалось для быстрого выхода из кризиса пробудить инициативу местной власти в сочетании с сильной государственной властью.

Подобный концептуальный подход еще во времена складывания Московского царства привел к рождению принципа государственно-общественного управления на местах. Правда, общественной российской система управления на местах может быть названа лишь условно, поскольку общественность была жестко сословной. Местные выборные органы должны были компенсировать слабость государства, не готового создать бюрократизированную, разветвленную сеть административной, налоговой и судебной власти на местах. Попытки привлечения населения к управлению на местах путем избрания должностных лиц местного управления делались и при Петре Великом. Впервые масштабно, как принцип государственного управления привлечение общественности к государственному управлению было заявлено в ходе губернской реформы Екатерины Великой. Принцип государственно-общественного управления получил свое дальнейшее развитие в Земской (1864) и Городской (1872) реформах XIX в. При этом, с одной стороны, введенные согласно реформе земские учреждения не были полностью общественными, поскольку предусматривался плотный контроль государства за их деятельностью, но, с другой стороны, и управление губерниями и уездами не было сугубо государственным, поскольку в состав соответствующих учреждений, ведавших сугубо хозяйственными вопросами местного значения (дороги, жизнеобеспечение города, школы, больницы, дома презрения, ветеринария, агрономия) были введены представители земства.

Таким образом, в российском государстве сформировался особый коммуникативный модуль взаимодействия центральной и местной власти: реформы местного самоуправления (реформы Ивана IV, Петра I, Екатерины II, Александра II) вырабатывались и проводились по инициативе центральной власти «сверху» без учета интересов народа; органы местного управления, по сути, являлись низшим звеном государственного аппарата; ответственности местной власти перед государством всегда уделялось внимания больше, чем ответственности перед населением; государство строго контролировало управление на местах; права и свободы местного самоуправления ущемлялись как «по закону», так и на практике. На протяжении длительного периода существования российской государственности постепенно менялся менталитет правителей, их ценностные ориентиры, представления об идеальной форме правления, но алгоритм взаимодействия центральной и местной власти при этом оставался неизменным.

В рамках данного алгоритма в России сложились специфический тип и каналы коммуникации центральной и местной власти. На огромных пространствах России при отсутствии средств коммуникации объективно не могло существовать единого информационного пространства. Следовательно, тотальный контроль центральной власти за деятельностью власти местной был абсолютно невозможен. В таких условиях формировался особый тип коммуникации двух уровней власти, который был неразрывно связан с искажением социальной, политической, управленческой информации при прохождении «сверху вниз» и «снизу вверх».

Любая управленческая информация, спускаемая «сверху вниз» в расчете на неукоснительное выполнение, воспринималась, «толковалась» и проводилась в жизнь конкретным местным чиновником или выборным должностным лицом, с одной стороны, в силу его ума, интеллекта, элементарной образованности, а с другой – по личному усмотрению и в своих собственных интересах [18]. В свою очередь, информация, которую предоставляли вышестоящим властным инстанциям местные управленцы, тоже зачастую искажалась, преподносилась в выгодном им свете, с расстановкой нужных акцентов, определенной недоговоренностью, а то и полным замалчиванием некоторых фактов.

При таком типе коммуникации двух уровней властей результат управления зависит не столько от того, как распорядилась центральная власть, сколько от того, как исполнено это распоряжение местным управленцем и что он доложил вышестоящим инстанциям. В результате верховная власть располагала искаженной социальной информацией, на основе которой ей приходилось принимать важнейшие управленческие решения. Таким образом, можно говорить о наличии информационно-коммуникативного разрыва между государственным и местным уровнями власти в дореволюционной России, что на практике приводило к слабой управляемости территориями.

В то же время многие исследователи отмечают «огромную инерционность и поразительную устойчивость сложившейся системы взаимоотношений центральной и местной власти» [19]. Корни данного феномена следует искать в глубинах народного менталитета: для российского управленца любого уровня всегда существовала необходимость так или иначе опираться на идею самодержавия, быть причастным таким образом к объединяющему началу управления. Принятое любым сельским старостой конкретное управленческое решение в той или иной степени опиралось на верховную, центральную власть и выступало от ее имени.

В заключении отметим, что ретроспективный социокоммуникативный анализ взаимоотношений государственного и местного управления в дореволюционной России подводит к следующему основному выводу. Центральная власть всегда рассматривала местное самоуправление как маложелательный, труднотерпимый придаток к государственному аппарату, который надо было «держат в узде» и использовать по мере надобности. И хотя в истории дореволюционной России были времена, когда развитие централизации (самодержавия) и самоуправления шло одновременно или параллельно, модель коммуникации государственной власти и местного самоуправления концептуально оставалась неизменной. Недаром М. Е. Салтыков-Щедрин, прекрасно знающий не понаслышке «внутреннее устройство нашего государственного управления», метко подметил, что центральная власть отвела земским органам самоуправления роль «пятого колеса в колеснице государственного механизма» [20].

Модель и механизмы коммуникации государственной власти и местного самоуправления любой страны являются неотъемлемым элементом культуры и детерминированы географическими, ментальными, историческими и другими факторами. Поэтому они очень стабильны, устойчивы к внутренним и внешним потрясениям и переходят из одной исторической эпохи в другую, их очень трудно изменить. Однако не вызывает сомнений и мысль о том, что модель социальной коммуникации этих двух уровней власти должна эволю-

ционизировать в соответствии с вызовами современности. Начало XXI в. должно ознаменоваться переходом государственной власти к диалоговой, дискурсной модели коммуникации с местным самоуправлением, соответствующей нашим историческим традициям и способной адекватно отвечать на вызовы современности. В противном случае информационно-коммуникативный тоталитаризм и манипулятивные технологии центральной власти обернутся тотальным кризисом доверия к ней, что в очередной раз может привести к «великим потрясениям» (П. Столыпин). Сегодня существует насущная объективная необходимость и потребность в рефлексивной парадигме государственной власти, осознании ею самой себя и своего места в российском обществе, в грамотной, осторожной коррекции менталитета власти и менталитета народа, налаживании между ними диалога по наиболее важным, общезначимым проблемам. Необходимо ликвидировать коммуникативные разрывы и между государственной властью и местным самоуправлением, организовать подлинный диалог между ними.

### Список литературы

1. **Егоров, В. К.** Государственная власть и государственная служба в России: к новому качеству / В. К. Егоров // Государственная служба. – 2006. – № 5.
2. **Безобразов, В. П.** Государство и общество. Управление, самоуправление и судебная власть / В. П. Безобразов. – СПб., 1882. – С. 26.
3. **Попов, В. Д.** Демос и кратия на крыльях птицы феникс / В. Д. Попов // Чиновник. – 2007. – № 2.
4. **Чичерин, Б. Н.** О народном представительстве / Б. Н. Чичерин. – М., 1899. – Т. 1. – С. 154.
5. **Еремян, В. В.** Муниципальная история России / В. В. Еремян. – М., 2003.
6. **Ковалев, Г. А.** Научные революции и стратегии социального управления / Г. А. Ковалев // Психология госслужбы: очерки по социальной психологии. – М., 1997.
7. **Усягин, А. В.** Политическое управление и его территориальные аспекты: российский опыт / А. В. Усягин. – Нижний Новгород, 2005. – С. 56.
8. **Греков, Б. Д.** Киевская Русь / Б. Д. Греков. – М., 1949.
9. **Фроянов, И. Я.** Киевская Русь. Очерки социально-политической истории / И. Я. Фроянов. – Л., 1980.
10. История государственного управления в России : учебник / отв. ред. В. Г. Игнатов. – Ростов-на-Дону, 1999.
11. **Ключевский, В. О.** Сочинения. В 9 т. Т. 1. Курс русской истории / В. О. Ключевский. – М., 1987. – Ч. 1. – С. 156.
12. **Пресняков, А. Е.** Княжеское право в древней Руси / А. Е. Пресняков. – СПб., 1909. – С. 25, 27–154.
13. **Иловайский, Д. И.** История России. Становление Руси / Д. И. Иловайский. – М., 1996. – С. 101–102.
14. **Цейтлин, Р. С.** История государственного управления и муниципального самоуправления в России / Р. С. Цейтлин, С. А. Сергеев. – М., 2003.
15. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма : в 3 т. / гл. ред. З. В. Удальцова. – М., 1985. – Т. 1. – С. 324–327.
16. **Емельянов, Н. А.** Местное самоуправление в России: генезис и тенденции развития / Н. А. Емельянов. – Тула, 1997. – С. 84.
17. **Пирумова, Н. М.** Земское либеральное движение / Н. М. Пирумова. – М., 1987. – С. 27.
18. **Соловьев, С. М.** История России с древнейших времен / С. М. Соловьев. – М., 1980. – Т. 2. – С. 62.

19. **Наумов, С. Ю.** Президентский проект политической реформы региональной власти и исторический российский тип управления / С. Ю. Наумов, Н. Н. Слонов // Государственная служба. – 2005. – № 1.
20. **Салтыков-Щедрин, М. Е.** За рубежом // Собрание сочинений. – М., 1972. – Т. 14.



## ПАРАДИГМА МОДЕРНИЗАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

В предлагаемой статье проводится анализ эволюции модернизационной парадигмы в социальных науках и прослеживается трансформация теоретических оснований классических и неклассических концепций модернизации. Отмечается, что современным подходам присущ отказ от рассмотрения проблематики общественного развития в русле проективного мышления, в масштабе универсальных моделей. Для них характерен переход от анализа трансформаций социальных институтов к исследованию неформальных микроуровневых процессов сквозь призму ценностных и когнитивных изменений модернизирующегося общества.

### Введение

Зарождение и дисциплинарное оформление социального научного знания в Европе XIX столетия было связано с потребностью западного общества в теоретическом истолковании широкомасштабных экономических, правовых и социально-психологических изменений, которые произошли в эпоху великих европейских (а затем и всемирных) политических и технологических революций XVIII–XIX столетий. Невиданные до тех пор интенсификация промышленного производства, увеличение численности городского населения, демократизация политических режимов были восприняты и в научной среде, и в кругу европейской элиты как свидетельство перехода от примитивного образа жизни традиционалистских общин к современному, цивилизованному социуму, обусловленного всем ходом истории человечества. К перечисленным новациям следует добавить и относительную свободу средств массовой информации того времени в Европе и США, что способствовало формированию международного общественного мнения, обретавшего все большее влияние.

Как пишет по этому поводу П. Штомпка, «социология стала формой научного самосознания современности, и ее наиболее важные, классические достижения связаны с опытом торжествующей модернизации» [1, с. 100]. Безусловно, справедливость этих слов не означает, что теория модернизации явилась некой метатеорией социальных наук, подчиняющей себе всю социологическую, политологическую или экономическую проблематику. Однако на начальном этапе своего становления концепции модернизации претендовали на роль макроисследовательской объяснительной схемы, парадигмы социального научного познания. В ее концептуальную основу была положена просветительская идея общественно-исторического развития, *прогресса* – поступательного развития, преобразования исходных примитивных (не столько человеческих, сколько природных) условий человеческой жизнедеятельности в высокоразвитые формы производительного труда и сознательной социальной кооперации. Любые потенциальные и реальные отклонения от «красной

линии» модернизации, согласно идее прогрессизма, должны быть отнесены на счет рудиментов традиционного образа жизни и мышления, которые, безусловно, будут изжиты в ожидаемом будущем.

Можно говорить о том, что классическая социальная наука формируется не столько как дескриптивная дисциплина, индуктивно обобщающая массив эмпирических данных, и не как «чистая» теория, вооруженная гипотетико-дедуктивным методом. Она скорее предстает квинтэссенцией просветительских умонастроений, теоретической формой мировоззренческого знания своей эпохи. Социальные науки с момента своего дисциплинарного оформления «отвечали уровню западной рациональности и служили целям западной модернизации как в концептуально-мировоззренческом смысле (источники легитимации социального развития), так и в социально-психологическом (обеспечение функционирования социальной системы)» [2, с. 152]. Поэтому главной отличительной чертой классического европейского обществознания было позитивное восприятие происходящих хозяйственных и общественно-политических перемен и одновременно с этим отрицание прежнего, досовременного социокультурного опыта.

### **1. Становление классической парадигмы модернизации**

В научной литературе утвердилось мнение, что тема социальной модернизации является «изобретением» прошедшего XX столетия, богатого на события всемирно-исторического масштаба. Сложилось устойчивое представление, что проблематика модернизации («осовременивания») определила развитие всех регионов планеты после Второй мировой войны, стала концептуальным центром конкурентной борьбы социалистического и капиталистического военно-политических блоков за раздел сфер влияния в остальном мире. Именно с началом «холодной войны», как считается, создаются первые «классические» модернизационные концепции и проекты: программа модернизации (ускорения перехода от традиционности к современности) была предложена учеными и политиками США и Западной Европы странам третьего мира в качестве альтернативы коммунистической ориентации. В 1950 – начале 1960-х гг. различные аналитические течения и теоретические традиции объединились под эгидой междисциплинарной компаративистской перспективы, «которая развивалась в постоянном взаимодействии с реальными процессами развития, вносящими коррективы в ее содержание» [3, с. 147].

Однако есть и иное видение истории модернизации и истории ее теоретического оформления. Например, Т. Парсонс показывает, что примером модернизации следует считать и исторический опыт преобразований европейских обществ примерно с XVII в. (генеральной линией модернизации на современном этапе он называет «американизацию» [4, с. 171]), и «революцию» Мэйдзи в Японии XIX в. [4, с. 179]. Достижения этих великих революционных эпох и явились прообразом для новейших концепций и программ модернизации. Не является тайной и тот факт, что мировая научная мысль к середине XX столетия накопила большой опыт осмысления проблем радикальных социальных изменений и предложила целый ряд теорий, которые и должны быть названы классическими теориями модернизации.

П. Бергер вносит существенную поправку в дихотомию *классическое–неклассическое* и предлагает различать модернизационные исследования в

узком и широком понимании. Теория в узком смысле, согласно его толкованию, – это те прикладные, практически ориентированные модели преобразования любого западного общества по заданному образцу, что были разработаны в послевоенный период [5, с. 35]. Тем самым она скорее стремится стать *идеологией модернизации*, а не ее научной концептуализацией. В более же широком плане данная теория охватывает общие взгляды на проблему модернизации, восходящие главным образом к основным традициям классической социологии XIX – начала XX столетий [5, с. 35], т.е. представляет модернизацию как базисную характеристику общественных изменений и выстраивает на ее основе масштабную типологическую картину социальной эволюции. Именно широкий взгляд на проблематику модернизации открывает ученым того времени ее концептуальные основания, равные основаниям европейской цивилизации. Тем самым Бергер различает модернизацию как проект социальных преобразований (исследования 50–60-х гг. XX в.) и как собственно теоретическое описание протекающих в «большом» времени истории трансформаций.

Итак, что же отличает классический период модернизационных исследований, в ходе которого (как было показано во введении) складывается основная тематика современного обществознания?

В XIX в. в большинстве европейских социологических концепций (О. Конта, К. Маркса, Э. Дюркгейма, Ф. Тённиса, М. Вебера и др.) ход истории явно или подспудно представляется в прогрессистском духе. Идея неуклонного совершенствования качеств человека и социума явились доминантой этих теоретических построений. Логика исторического процесса в них представлялась логикой антагонизма традиционного (отсталого, примитивного, стихийного) и модернизированного (передового, системно организованного) общества. А сами эти концепты стали не только научными категориями, но и оценочными понятиями.

Следует отметить, что утверждение «всемирно-исторического» ракурса мышления классической европейской социальной науки было обусловлено не только умозрительно. История в это время действительно стала превращаться во всемирную с появлением Запада как более развитой, технически передовой части света. «Она стала таковой не в смысле наличия какого-либо всемирного закона развития человечества (как это полагал, например, Гегель), а эмпирически» [6, с. 26]. Эпоха великих географических открытий, последовавшие за ней колониальные захваты великих держав и тотальная эксплуатация «новых» территорий, многовековой процесс вооруженного передела мира на зоны влияния – все это способствовало объединению разрозненных прежде стран и народов под эгидой западного мира. Именно европейские государства и их представители стали инициаторами обширных международных торговых обменов и смогли в полной мере воспользоваться их преимуществами. В результате Запад стал зримым образцом развития и процветания для всего остального мира. Среди всех других регионов планеты Запад выделялся не только в плане своих «материальных» достижений, но и как влиятельный духовный феномен. Он отличался сочетанием «трех новых черт сознания – индивидуализма, свободы, веры в науку, нового психологического склада, включающего оптимизм, уверенность, полагание на собственные силы» [6, с. 27].

Политическая и экономическая модернизация стран Европы и Северной Америки представала в трудах философов, социологов и экономистов комплексным явлением, охватывающим и радикально меняющим все аспекты социальной жизни. Речь шла и о становлении принципиально нового вида общества, о формировании нового типа человека – свободного, самостоятельного, предприимчивого. Общество отныне, как пишет А. Турен, «определяется не своей природой или еще менее традициями, а усилиями действующих лиц, которые, как и все общество, освобождаются от оболочки прошлых партикуляризов в движении к универсальному будущему» [7, с. 5].

Классическая парадигма модернизации утверждала идею тотального освобождения, эмансипации человеческого рода от всех форм материального и духовного рабства – будь-то сословные привилегии, религиозные убеждения, бытовые предрассудки и семейные традиции, которые человек «застает» в момент своего рождения уже существующими, укорененными в опыте прошлых поколений. Тем самым вся прежняя история семьи, сельской или городской общины, нации в целом оказывается заподозренной в неподлинности и потому не заслуживающей доверия. Это пример того, как научная идея приобретает разнообразные идеологические формы, содержательное наполнение которых варьировалось от научно-политических тезисов радикально настроенных левых мыслителей (К. Маркс, Ф. Энгельс) до идей умеренно либеральных ученых (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм).

Таким образом, мы видим, что модернизация как процесс реальных социально-экономических преобразований имеет двойственный характер. С одной стороны, она охватывает период развития стран Европы и Северной Америки за последние три–четыре столетия (эпоха Нового времени) и является западной по своей природе и происхождению. Говоря точнее, Запад складывается как особый тип современной цивилизации именно в ходе своей модернизации. С другой стороны, модернизация представляется одновременно и вызовом Западу всему остальному миру, вынуждающим последний соотносить цели и способы своего существования с западными стандартами, побуждающим развивающиеся страны к гонке за лидером прогресса.

## **2. Антиномия теории модернизации: традиция и современность**

Как пишет Ш. Эйзенштадт, комментируя особенности первых этапов становления современной социальной теории, «долгое время социологи были склонны формулировать проблему социального порядка в чисто гоббсовских категориях, иначе говоря, в категориях перехода от досоциального состояния индивидуального существования к социальному. Однако мало-помалу фокус социологического анализа перемещался в собственно институциональную сферу, в самое устройство человеческого общества» [8, с. 58]. То есть в недрах классической социологической и политэкономической науки вызревает альтернативный историческому подходу к феномену модернизации аналитический подход, как его называет П. Штомпка [1, с.100].

Ведущими «аналитиками» модернизации на рубеже XIX–XX столетий являлись немецкие ученые М. Вебер и В. Зомбарт. В чем заключается специфика их аналитической установки? Насколько она принципиально противоположна историко-эволюционной парадигме?

Прежде чем ответить на эти вопросы, внесем одно уточнение. Не следует радикализировать концептуальный «разрыв» между историческим и

аналитическими описаниями общества, поскольку их экстракция «в чистом виде» существенно обедняет теорию. Несомненно, всякий обширный хронологический материал нуждается в концептуальной обработке, для того чтобы предстать в качестве авторского видения всемирно-исторического процесса. А каждая теоретическая попытка исследовать человеческий мир в его динамике тем или иным образом исследует и устанавливает причины, цели и механизмы глобальных общественных изменений.

В. Зомбарт исследует специфику ведения хозяйственной деятельности в традиционном (докапиталистическом) и современном (капиталистическом) обществе. Полученные в результате этой работы выводы имеют не только экономическое значение, но и помогают ярче представить особенности формирования структуры социальных отношений в каждом типе общества. Вполне в духе политэкономии К. Маркса В. Зомбарт показывает очевидную причинно-следственную связь между характером целей хозяйствования и складывающимся уровнем социальной кооперации. Например, в традиционном обществе экономика (бывшая буквально делом всей жизни) ориентировалась на продуктивное воспроизводство, т.е. простое «покрытие потребностей» крестьянской или ремесленной семьи [9, с. 40], и ведение такого хозяйства не создавало необходимости в установлении сложных, опосредованных взаимоотношений за пределами локального сообщества. Как пишет В. Зомбарт, «этому в высокой степени личному характеру хозяйствования соответствует и его эмпиризм, или... *традиционализм*», т.е. «при принятии решения... смотрят прежде всего... не на цель, но... на примеры прошлого, на образцы, на опыт» [9, с. 44, 45]. Напротив, в современную капиталистическую эпоху преобладающим становится товарное производство, ориентированное на рыночный обмен продуктами труда, что ведет к формированию сети разнообразных интеракций, цели которых выходят за пределы повседневной нужды человека в поддержании своего существования на одном уровне.

Можно сказать, что общественное разделение труда, описанное А. Смитом, К. Марксом, Э. Дюркгеймом и другими классиками социальных наук, с развитием капитализма преодолевает границы исключительно экономической сферы и вовлекает в свой ход все виды человеческой деятельности и межличностных интеракций. Продукт всякого труда теперь рассматривается как потенциальный товар, и его продвижение открывает человеку доступ ко всем благам мира. Одновременно и весь человеческий мир начинает восприниматься подобно рыночной площади, где люди заняты лишь поиском наиболее выгодных мест сбыта своего товара.

И классическая, и неклассическая теории модернизации основывали свою типологизацию «традиционных» и «современных» обществ на идее М. Вебера об историческом возрастании рационализации социальных отношений: от ценностной рациональности к целевой. Ценностная рациональность – «имманентное свойство традиционного общества, предполагающее приоритет ценности над целью... ценностная рациональность – это рациональность целого, где индивид ориентируются на общие ценности, не выделяя себя четко из целого. <...> В современном обществе рациональность представляет собой способность достигнуть поставленной цели. Это общество эффективно в достижении целей, формирует приоритет индивидуальных целей и делает цель – достижение интересов, а не следование ценностям – своей главной предпосылкой и основным содержанием» [6, с. 150, 151].

Как видим, концепция рациональности М. Вебера и типология хозяйственного труда В. Зомбарта близки в своих выводах: в современном обществе происходит усложнение и дифференциация целеполагающей деятельности человека, которая приобретает все больший социальный характер.

Главным недостатком традиционной формы социальной организации многие исследователи называют отсутствие выделенной персональности, поскольку, как отмечает Ш. Эйзенштадт, это сковывает развитие представлений о «возможности сознательного переустройства социального порядка и культурных моделей посредством самостоятельности индивидов» [8, с. 219]. В целом в ходе модернизации должна произойти, во-первых, «смена преобладающей формы общественного труда (аграрного – индустриальным)»; во-вторых, «дифференциация ранее слабо расчлененного общества на отдельные сферы (экономическую, политическую, правовую, культурную), обладающие собственной, относительно автономной логикой существования и развития, том числе по отношению к государству (становление так называемого гражданского общества). Наконец, атрибутом модернизации является формирование автономно-суверенного индивида, личности» [10].

### **3. Парадигма модернизации в XX в.: от теории к проекту**

Поворотным моментом в развитии парадигмы модернизации в XX столетии стало новое «открытие» ее проблематики в социальном познании после окончания Второй мировой войны, когда большинство регионов планеты оказалось охвачено процессами коренных экономических, политических и культурных преобразований.

Идея «всемирно-исторического процесса», занимавшая умы ученых и политиков XVIII–XIX столетий, переосмысливается в середине XX в. как идея «социального развития». Что под этим подразумевается?

П. Бергер указывает на то, что термин «социальное развитие» (посредством его широкого обсуждения в массмедиа) можно рассмотреть с точки зрения его научного содержания и обыденного понимания. На языке повседневности развитие получило довольно простой смысл: «развитие – это процесс, с помощью которого народы бедных стран достигают уровня материальной жизни, характерного для развитых государств индустриального капитализма» [5, с. 148, 149]. На языке теории развитие предстает как постоянный и планомерный экономический рост. Этот (на первый взгляд) чисто хозяйственный процесс накопления национального богатства призван ликвидировать такие социальные пороки, как высокая детская смертность, низкая средняя продолжительность жизни, недоступность образования и квалифицированной медицинской помощи, массовый голод и нищета и др., т.е. нивелировать те явления, порождающие социальное неравенство и классовое расслоение, которые негативно влияют на моральный климат внутри любой страны и разрушают основы человеческой солидарности, «общественного договора». Главной задачей модернизации становится улучшение условий повседневного существования широких слоев населения, а главным критерием ее успеха выступает повышение качества жизни людей. Поэтому модернизация из предмета теоретического рассмотрения превращается в актуальную политическую задачу, становится проектом комплексных социально-экономических и правовых преобразований.

Одновременно с этим в центре научных дискуссий оказался вопрос о «цене» модернизации, ее социокультурных последствиях для развивающихся стран. Также возник вопрос о том, должны ли модернизирующиеся страны аутентично воспроизводить опыт Запада, вестернизируя экономику, политическую систему и культуру, или же им следует разрабатывать автохтонные варианты своей модернизации. В последнее время социальные теоретики все больше склонны полагать, что политика модернизации должна адаптировать процессы индустриализации, информатизации и демократизации к местным условиям, чтобы занять собственную нишу в процессах глобального разделения труда и капитала. При этом считается, что успеху развития по этому вектору послужит умелое сочетание новых форм производства (в первую очередь информационных технологий) с особенностями национальной культуры. Правда, надо отметить, что здесь скрыто одно противоречие. С одной стороны, сейчас национальные культуры чаще воспринимаются в качестве экзотического антуража для привлечения иностранных туристов (о чем пишет, например, З. Бауман), чем в качестве потенциала мобилизации интеллектуальных и трудовых ресурсов. С другой стороны, производственные новации, особенно доступ к мировым информационным потокам и возможность более свободного перемещения по миру, доминирование так называемого международного стиля в дизайне и архитектуре радикально изменяют культурные идентичности людей в незападном мире.

В соответствии с новым, гуманистическим, пониманием учеными модернизационных процессов потребовалось пересмотреть структуру индикаторов социального развития, согласовать ее с тенденциями «человекомерного» построения теории. В 60–70 гг. XX в. на первый план в исследованиях выходят социально-психологические показатели трансформаций. Они демонстрируют, как в реальности воспринимаются и интерпретируются модернизирующимся обществом происходящие с ним изменения, какие из концептуальных схем модернизации воплощаются в жизнь в каждом конкретном случае.

С. Хантингтон, рассматривая политический аспект модернизации, выделяет наряду с социальным и экономическим еще два уровня изменений общественной жизни.

На первом – *психологическом* уровне – модернизация означает фундаментальный сдвиг в ценностях, установках и ожиданиях людей, вовлеченных в процессы изменений, когда радикальным образом трансформируется общественный «темперамент» человека. Если преобладающим типом личности традиционного социума был репродуктивно действующий член локальной общности, то личность современного типа – это продуктивно мыслящий творец, признающий необходимость и даже желательность общественных изменений, рассматривающий эти изменения как условия своего материального и духовного роста. Этот процесс, как указывает С. Хантингтон, сопровождается возрастающей приверженностью универсалистским ценностям в противоположность ценностям партикуляристским и ориентируется на стандарты, связанные с достижениями индивида, в противоположность стандартам аскриптивным (связанным с его принадлежностью к той или иной группе) [11, с. 50].

Второй выделяемый С. Хантингтоном уровень – *интеллектуальный*. Модернизация на этом уровне означает расширение человеческих знаний об окружающем мире и распространение этих знаний посредством массового образования и средств коммуникации. По мнению этого автора, интеллекту-

альный прогресс прямо обуславливает особенности образа жизни современного человека. Именно рост научных знаний позволяет увидеть, например, темпы изменений качества здоровья и продолжительности жизни людей как результат их собственной осознанной активности [11, с. 50].

### **Заключение**

Парадигма модернизации в социальных науках с момента своего формирования придерживается классической антиномии теории прогресса. С одной стороны, история рассматривается как единый поступательный процесс развертывания неизменной по своей сути социальной субстанции. С другой стороны, история – это все же процесс изменений, трансформаций, невосполнимых потерь. Вероятно, современность в таком случае не может полностью «снять» противоречия традиционного общества, но является альтернативной формой социального устройства мира. При этом остается актуальным вопрос (хорошо осознанный классической социальной теорией) о том, каким образом модернизирующееся общество – общество перманентных изменений – может гарантировать стабильный социальный порядок.

С решением этой проблемы связан ответ и на другие вопросы, например, о том, как в глобальном, универсальном, но свободном для выбора целей развития мире могут продолжать существовать общества, основанные на частных, традиционных ценностях и целях. Ведь модернизация как проект идеального, образцового будущего бросает тень подозрения на все, не согласованное с таковым проектом, тем более на все, заранее несогласное с ним.

Современные теории модернизации пытаются преодолеть остроту этих вопросов, переходя от анализа перемен в социальных институтах к исследованию микроуровневых процессов в ракурсе восприятия самим модернизирующимся обществом протекающих изменений в аспекте его ценностных и когнитивных трансформаций.

### **Список литературы**

1. **Штомпка, П.** Социология социальных изменений / П. Штомпка, под ред. В. А. Ядова ; пер. с англ. – М. : Аспект-Пресс, 1996. – 416 с.
2. **Федотова, В. Г.** Хорошее общество / В. Г. Федотова. – М. : Прогресс-Традиция, 2005. – 544 с.
3. **Побережников, И. В.** Модернизация: теоретико-методологические подходы / И. В. Побережников // Экономическая история. Обзорение / под ред. Л. И. Бородкина. – Вып. 8. – М., 2002. – С. 146–168.
4. **Парсонс, Т.** Система современных обществ / Т. Парсонс, под ред. М. С. Ковалевой ; пер. с англ. – М. : Аспект-Пресс, 1998. – 270 с.
5. **Бергер, П.** Капиталистическая революция (50 тезисов о процветании, равенстве и свободе) / П. Бергер ; пер. с англ. Г. П. Бляблина. – М. : Издательская группа «Прогресс» – «Универс», 1994. – 320 с.
6. **Федотова, В. Г.** Модернизация «другой» Европы / В. Г. Федотова. – М. : ИФРАН, 1997. – 255 с.
7. **Турен, А.** Возвращение человека действующего. Очерк социологии / А. Турен. – М. : Научный мир, 1998. – 204 с.
8. **Эйзенштадт, Ш.** Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций / Ш. Эйзенштадт, под ред. Б. С. Ерасова ; пер. с англ. А. В. Гордона. – М. : Аспект-Пресс, 1999. – 416 с.



9. **Зомбарт, В.** Буржуа: к истории духовного развития современного экономического человека // Собрание сочинений : в 3 т. ; пер. с нем. – СПб. : Владимир Даль, 2005. – Т. 1. – 640 с.
- 10 **Хорос, В. Г.** Политическая модернизация в постсовременных обществах / В. Г. Хорос, М. А. Чешков // Авторитаризм и демократия в развивающихся странах. – М., 1996. – С. 7.
11. **Хантингтон, С.** Политический порядок в меняющихся обществах / С. Хантингтон ; пер. с англ. В. Р. Рокитянского. – М. : Прогресс-Традиция, 2004. – 480 с.

## ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ (НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

В статье рассматривается круг вопросов, относящихся к области индивидуальной модернизации, трансформирующей образ человека, его социально-психологические установки и ценности в сторону приближения к образу «модернити». Дан частичный сопоставительный анализ требований со стороны общества к трансформирующейся личности в двух несовпадающих парадигмах: в рамках протяженной во времени социально-экономической и культурной модернизационной стратегии, с одной стороны, и в случае ситуационного реагирования на множество разнонаправленных вызовов современности в условиях динамично меняющегося общества, с другой стороны. Показано различие некоторых определяющих личностных характеристик, доминантных черт и компенсационных психологических механизмов, задействованных в этих двух парадигмах.

### Введение

В настоящее время в социальной философии разработан целый спектр концепций, нацеленных на изучение культурных, социальных и психологических последствий перехода от традиционного к современному обществу. Гуманитарная составляющая этого процесса – так называемая индивидуальная модернизация, трансформирующая социально-культурный облик человека в сторону «модернити». Как отмечает В. Г. Федотова, «считается аксиомой, что переход общества из традиционного состояния в современное... сопровождается персональной модернизацией индивида, включающей в себя не только функционально запрашиваемые качества – узкую профессионализацию, экономический интерес, эффективность, планирование времени, но и ряд принципиальных социокультурных изменений – развитие рациональности, инновативности, формирование в себе субъекта творческой деятельности, способности быть персонально ответственным, привыкать к разнообразию взглядов, обретать личное достоинство, партикуляризм и оптимизм» [1]. Вместе с тем имеет место своего рода несовпадение двух «списков» приоритетных качеств человека: в парадигмах искусственной социально-экономической *модернизирующей стратегии*, как в случае с попытками вестернизации и догоняющей модернизации, с одной стороны, и в условиях *ситуационного реагирования* на вызовы современности, когда есть требование готовности ко многим разнонаправленным вариантам социальной гибкости, мобильности, с другой стороны.

### 1. Личностные трансформации естественно-исторической модернизации

Переход от традиционного к современному обществу, формирование особого личностного типа было долгим и сложным. Можно говорить о социокультурных изменениях, начавшихся с европейских буржуазных революций и продолжавшихся в течение всего Нового времени; перемены были усилены возникновением национального государства, строительством система-

тического капиталистического производства, накоплением прикладного знания, прогрессивской культурно-цивилизационной парадигмой. Историческое приближение к эпохе «модернити» было медленным, неодновременным для разных культурных сообществ, часто останавливалось на полпути к сложившейся так называемой «поздней современности».

Драматичность, многослойность личностных трансформаций заключается в том, что многие общества находились на промежуточной стадии, осуществляя переход от доиндустриальной (аграрной) к техногенной, индустриальной цивилизации и в культурно-мировоззренческом плане двигаясь от общинно-коллективистских способов жизнедеятельности человека к обществу с частными формами социальной ориентации личности. При этом проявилась диалектика взаимодействия определенного типа общества и соответствующего типа личности. Традиционное общество было исторически первым, его черты распространены сейчас. Ряд исследователей отмечает, что попытки сконцентрировать усилия по модернизации одних сфер приводят к демодернизации других и реанимированию более архаичных пластов сознания из-за неадекватности избранной модели культуры народа.

Как отмечает В. Г. Федотова, традиционное общество – это общество, воспроизводящее себя на основе традиции и имеющее источником легитимации традицию, ее доминирование над инновацией; зависимость организации социальной жизни от религиозных или мифологических представлений, вообще большую роль вертикального измерения духовности, большую связь с сакральным в противовес горизонтальному измерению – практически-материальной составляющей и повседневной коммуникации; мысль о цикличности развития; коллективистский характер общества и отсутствие выделенной персональности; глубоко укорененное самосознание личности как элемента коллективного целого; авторитарный характер власти; предэкономический, прединдустриальный характер; отсутствие массового образования; преобладание локального над универсальным и др. С другой стороны, к определяющим чертам «модернити» относятся преобладание инноваций над традицией; урбанизация, светский характер социальной жизни, поступательное (нециклическое) развитие; выделенная персональность; преимущественная ориентация на инструментальные ценности; требование более демократической системы власти; разнообразие позиций и многовариантность политического поведения; наличие отложенного спроса как способности производить не ради насущных потребностей, а ради будущего; распространение образования; формирование активного деятельного типа личности; культурное представление о том, что знание может быть оспорено; предпочтение мировоззренческому знанию точных наук и технологий (техногенная цивилизация); преобладание универсального над локальным и т.д. [2]. Личностные качества человека традиционного общества являются следствием единой фундаментальной установки.

Культурные ориентации, характерные для модерности, воплощаются в институтах, но не сводятся к ним. Историческое формирование нового человека на базе уже существовавшего духа и ментальности включило в себя развитие способностей самоопределения, «самовопрошания» и самотрансформации. В зависимости от адекватности представления человека о самом себе и о своем социокультурном статусе он мог строить и осуществлять свою

жизненную стратегию. Этот процесс исторически способствовал росту проектов самодетерминации [3]. Искусственный модерн не был столь эффективен, как показал последующий опыт, он должен был органично созреть как продукт социальной и культурной жизни на основе эндогенных культурных факторов.

Социально-психологический портрет человека эпохи модерна сложился преимущественно на базе рациональности, личной инициативы, предпринимательства, персональной ответственности и протестантской этики, когда аскетизм и концепция достижительности этого религиозного движения сложным образом преобразовались в функциональные теории социального развития. Произошло взаимопроникновение религиозных идеалов и интересов их социальных носителей. По-видимому, как отмечает С. Н. Гавров, «модерность, постепенно выходя за пределы Европы, стала распространяться по всему миру во многом потому, что никакие более традиционные общественные формы не могли противостоять ей. Вплоть до второй половины XX века реальное превосходство западной цивилизации над остальным миром было преобладающим, если не сказать абсолютным. <...> В качестве альтернативного западному пути развития в течение большей части прошлого века выступал социалистический проект, представлявший собой попытку достигнуть количественных экономических показателей ведущих государств модерности» [4]. Говоря о социокультурных предпосылках, характерных для идеи прогресса на протяжении всего периода ее существования, Р. Нисбет называет среди них веру в ценность прошлого; убежденность в величии западноевропейской цивилизации; высокую ценность, предписываемую экономическому и технологическому развитию; веру в разум и тот вид научно-исследовательского знания, который может быть порожден только разумом; убежденность в ни с чем не сравнимой *ценности* жизни на этой земле [5]. Утрата смысла и цели, связанных с Западом и его культурным наследием, приводит к изменению отношения не только к политическим, но также и социальным, культурным и религиозным институтам, пришедшим с Запада. Таким образом, построение обществ с чертами модерна не просто служило ускоренному преодолению отставания, но стало универсальным способом развития. Наблюдается тенденция рассматривать историю обществ других эпох и цивилизаций, а также общества на более ранних этапах его развития под углом их соответствия линейно-прогрессивной концепции.

## **2. Человек модерна как особый проект**

Культурная и политическая программа Нового времени включила в себя установку на изменение социально-психологической модели человека в сторону модерна. Здесь обозначились две тенденции. Первая, проявившись в эпоху французской революции, дала возможность преодоления разрыва между трансцендентным и повседневным посредством активного социального действия, реализации утопических и эсхатологических мотивов [6]. Например, в XX в. политика часто обращалась к этой стороне коллективного бессознательного, ассоциируя достижения модерна с реализацией «*социальной утопии*». Это связано с тем, что моделирование социальной реальности сопряжено с идеализацией, т.е. часто с погружением в той или иной степени в утопию: утопический элемент реформ быстрее мобилизует массы, привлекая их иллюзией близости желаемого. Утопист – максималист, его несогла-

сие с действительностью тотально (модель построения социализма в одной стране, построения коммунизма к 1980 г., рыночной экономики за 500 дней и др.). «Погружение в утопию, пусть и отгораживающее барьером из грез человека от действительности, одновременно делает последнюю предметом умственных *манипуляций*, объектом *позитивного конструирования*, которое осуществляется согласно логике интеллектуального произвола» [7].

Фиксируемые утопией социальные и духовные ценности детерминированы реальными потребностями людей, но по принципу «компенсации». «Заимствуя свой материал из действительности, утопия лишь придает ему новые формы, и поэтому структура утопических идеалов отражает структуру формирующихся в обществе приоритетов и ценностей. Поэтому всякая утопия, трансцендентная исторически-конкретному, оказывает на него свое воздействие и даже, условно говоря, вступает в контакты с различными общественными группами» [7].

Вторая тенденция подчеркивает возможность легитимации индивидуальных целей вследствие разнообразия персональных интерпретаций общего блага. Растущая индивидуализация, вплоть до атомизации, позволила сконструировать идеальную социально-психологическую модель человека для оптимального взаимодействия с другими людьми и с институтами. Возможность нового порядка сделала актуальными символы автономии личности: равенство, свободу, справедливость, самореализацию, идентичность и др.

Впоследствии, желая сделать социально-экономическое развитие более динамичным, теоретики вестернизации и догоняющей модернизации XX в. стремились усовершенствовать не только общество с его институтами, но и базовый культурно-психологический тип. Были проанализированы глубокие, устойчивые образцы поведения, жизненные стратегии человека, способного успешно функционировать в современном обществе. Обнаружилась фундаментальная упорядоченность привычных и незаметных форм повседневной жизни, соизмеримость индивидуалистической разумной морали с установкой общества на развитие. Утопический тип мышления, определяющий видение мира в связи с выработанным социальным идеалом, достижение которого невозможно в существующих условиях, поставил задачу формирования человека нового социокультурного типа. Культурная идентичность не должна препятствовать функции поддержки технологических инноваций и экономическому развитию. Это вызвало запрос на социальные технологии как совокупность методов, «оказывающих влияние на поведение человека и служащих в руках власти средством социального контроля» [8], поскольку предполагалось, что природа человека такова, что сам он не в состоянии воспроизводить нужные черты рациональным образом.

В связи с этим задачей образования, воспитания нового индивида и в целом социализации становятся личностные характеристики, которые прежде не были востребованы и не могли сложиться в рамках традиционной модели личности. Воспитательная и социализирующая функции обеспечивают не только формирование личности, но и интегрирующие связи между поколениями в обществе, создавая условия для его стабильности и успешного развития. Разработка социальных технологий, в принципе, не встречала никаких препятствий, поскольку она должна была ускорить встраивание человека в новую, предвосхищаемую реальность, практически трансформировать социокультурные установки на основе взглядов об идеальных условиях буду-

щего. Быстрый рост численности «личностей типа А» (менее пассивно-созерцательного, нежели «тип В») призван был обеспечить жизнеспособность модернизирующегося общества, поддерживая изменения государства и экономики. У. Бек рисует картину «тройной индивидуализации»: «Освобождение от исторически заданных социальных форм и связей в смысле традиционных обстоятельств господства и обеспечения («аспект освобождения»), утрата традиционной стабильности с точки зрения действенного знания, веры и принятых норм («аспект разволшебствования») и – что как бы инвертирует смысл понятия – переход к новому виду социокультурной интеграции («аспект контроля и реинтеграции»)» [9]. Социально-психологический образ человека модерна перекликается с анализом А. Маслоу самоактуализирующегося индивида, для которого «мотивацией является личностный рост, а не преодоление внешних по отношению к нему недостатков, стремление наиболее полно реализовать себя, самосовершенствование, самовыражение, ориентация на долговременные, а не сиюминутные интересы, развитие, одним словом, самоактуализация; эти люди целенаправленны, креативны и автономны» [10]. основополагающими требованиями к самоактуализирующемуся индивиду является опора на самого себя, свои знания, умения и способности; совершенствование их, развитие творческого потенциала (испытывая свои возможности, человек образует себя, свой внутренний мир и приобретает интеллектуальный и социальный капитал); социальная активность, направленная на преодоление обстоятельств внешней среды; готовность к трудовой аскезе; высокая профессиональная квалификация и восприимчивость к новому; готовность защищать свои выгоды и интересы; конкурентность как эффективность в достижении успеха с наименьшими затратами ресурсов наряду со способностью к солидаризации и взаимодействию; целеустремленность, рациональность и ответственность, а также другие санкционированные социумом позитивные свойства и ценности, предполагающие, однако, хоть сколько-нибудь стабильное, однонаправленное и по возможности долговременное развитие. Приближение к модерности как стратегический проект допускает рецессивную, непоступательную динамику, прогресс и регресс, но при анализе достаточно длительного временного контекста должно просматриваться продвижение вперед, в сторону улучшения жизни и накопления достижений и технологических новшеств. Вырастая из «хронолинейки» прогресса, оно интерпретируется как продвижение к лучшему будущему.

Попытки модернизирующей трансформации культуры связаны с движением перед человеком целей, отнесенных к будущему, т.е. целей, которые находятся за пределами настоящего. Рассматривая своего рода изолированность во времени как одну из причин незавершенности проекта модерна, Р. Нисбет отмечает, что мысль о прошлом жизненно важна для идеи прогресса. «Обычно, когда речь идет о прогрессе, в голову тут же приходит будущее; но осознание движения от прошлого к настоящему – движения, которое можно без труда «телескопически выдвинуть», экстраполировать в будущее, – могло появиться лишь тогда, когда люди осознали наличие у них продолжительного прошлого» [5]. Воспоминания о прошлом лежали в основе веры в прогресс во все те периоды, когда эта вера переживала свой расцвет. Люди обращались к прошлому как к чему-то большему, нежели руководство по управлению настоящим, считали, что, изучая его, можно распознать будущее и даже, быть может, предсказать его. «Речь не идет о том, что мы действи-

тельно можем распознать будущее надежным образом, просто изучая тенденции прошлого и настоящего. Будущее – подходящий предмет для намеков, интуиции, предположений и догадок, но это менее важно, чем историческая связь людей с прошлым, представляющая собой непреходящий элемент поддержания человеческой жизни в настоящем и средств осознать будущее в качестве самостоятельной и реальной временной структуры» [5].

Хотя естественно-исторический прогресс – это не то же самое, что стремление приблизить человека к образу модерности, нельзя сказать, что они совершенно не связаны друг с другом. «Бедность воображения», сосредоточенность на «здесь и сейчас», неспособность к выходу за рамки требований настоящего времени, имеющих в различной мере ситуативный характер, повлияла на высокую степень морального разочарования в проекте модерна. Анализируя упадок идеи прогресса и стремления к лучшему будущему в странах с состоявшейся модернизацией, Нисбет отмечает разрушающую роль потери гордости за историческое прошлое, которая приводит к ощущению бессмысленности и бесцельности того, что делается сейчас и что делали предыдущие поколения. Вместе с тем, в отличие от проблемы современности проблема модернизации (перехода к современности) возникает в ситуации глубочайшей «хронополитической травмы», вызванной сознанием несовременности, отсталости своей страны по сравнению с другими. Жить с таким сознанием – само по себе «шок», рождающий мысль о необходимости «шоковой терапии» с целью возвращения себе утраченного статуса современности [11].

### **3. Личностная модернизация как ситуационное реагирование на вызовы современности**

Трудность социокультурных преобразований связана еще и с возросшей динамикой, нелинейностью, неустойчивостью изменений, масштабностью и уровнем социальных и демографических катастроф, когда не срабатывает предупреждающая, предвосхищающая психологическая и социальная адаптация человека на примере жизни предыдущих поколений, как это происходит при органичной естественно-исторической модернизации. Такие качества самоактуализирующейся личности, как способность к самоопределению, осознанному выбору, способность прогноза вероятных последствий этого выбора, ответственность перед собственным будущим оказываются частично парализованными. Человек вынужден ориентироваться в ситуации неопределенности, приспосабливаться к несоизмеримому с ним давлению, соответствовать неартикулируемым требованиям, времени на подготовку к которым у него не будет. П. Штомпка рассматривает эту ситуацию в терминах социальной травмы, которая завершается либо ее преодолением, либо углублением «социокультурного шока», либо сохранением травмы при адаптации к ней [12]. С другой стороны, анализируя феномен российской модернизации, В. Ф. Наумова при рассмотрении российской цивилизации как системы стратегических ответов человека, его рациональных реакций на долговременные стрессовые ситуации, провоцируемые повторяющимися запаздывающими модернизациями, приходит к выводу, что «нельзя не заметить сходства некоторых характеристик с теми характеристиками стрессовых ситуаций, которые, по мнению современных исследователей, наиболее сильно влияют на человека, его поведение и сознание. Это длительность стресса и его неконтролируемость, большая доля вовлеченного в него населения, ско-

рость, с которой происходит такое вовлечение, его продолжительность, глубина и повторное вовлечение, а также степень незнакомости, непривычности, новизны кризисной ситуации» [13].

В условиях противоречивых разновекторных социально-экономических и культурных изменений имеет смысл, по-видимому, пересмотреть список требований к человеку обществ «зрелого модерна», «поздней современности», а также тех, которые только пытаются достичь этой стадии развития. П. И. Бабочкин анализирует социально-психологические и социокультурные характеристики «человека эпохи модернити» через понятие жизнеспособности, выделяя такие свойства, как высокая психологическая устойчивость; высокий уровень самоорганизации человека; способность сохранять и реализовывать в различных ситуациях свои «смысложизненные» позиции; высокая мобильность, позволяющая привязать среду обитания к потребностям человека (но в малых европейских странах переселения с места на место традиционно имеют меньшее значение, чем в переселенческих государствах [14]); способность к преодолению трудностей, особенно внутреннего характера (борьба мотивов и др.). «Смысл жизнеспособности человека в условиях динамично изменяющейся социальной среды состоит в том, чтобы не только выжить, не деградируя физически и духовно, а стать индивидуальностью, сформировать свои смысложизненные, мировоззренческие установки, реализовать свои задатки и потребности в социально значимой деятельности, продуктивной самореализации» [15]. В. Г. Федотова выделяет такие помехи социальной адаптации личности в бурно меняющемся мире, как утрата ею контроля над социальными процессами, восприятие их как квазиприродных; неспособность человека и общества контролировать перемены; неспособность человека к планированию и достижению долговременных целей, жизненных стратегий [16]. Проблема самоактуализации переводит вопрос об ответственности человека за свою успешность, эффективность в такую плоскость, что он должен сам отвечать за то, состоялся ли он. Только в независимых от него социоприродных его чертах он может возлагать вину на судьбу: самоактуализирующийся индивид не тот, которому что-то добавлено, а тот, у которого природой ничего не отнято. Как отмечает З. Бауман, «имеет место нарастающий разрыв между индивидуальностью как предназначением и индивидуальностью как практической способностью самоутверждения. <...> Если они заболевают, то только потому, что не были достаточно решительны и последовательны в соблюдении здорового образа жизни. Если они остаются безработными, то оттого, что не научились проходить собеседования, не очень-то старались найти работу или же, говоря проще и прямее, просто от нее уклоняются. Если они не уверены в перспективах карьеры или дергаются при любой мысли о своем будущем, то лишь потому, что не слишком склонны обзаводиться друзьями и влиятельными знакомыми или же не смогли научиться искусству самовыражения и производить впечатление на других людей. Так, во всяком случае, им говорят, и они, похоже, верят этому, всем своим поведением показывая, будто и на самом деле все именно так и обстоит. <...> Риски и противоречия по-прежнему исходят от общества; индивидуализируются разве что долг и необходимость учитывать и преодолевать их» [17]. Это то, что У. Бек называет «индивидуацией», чтобы отличать самостоятельного и саморазвивающегося индивида от просто «индивидуализированной» личности, т.е. от человека, у которого не остается иного выбора, кроме как дей-



ствовать так, как если бы «индивидуация» была достигнута. Образ жизни человека становится *биографическим решением системных противоречий* [9].

В дрящей ситуации стресса, шока социально-психологическая структура личности должна быть такой, чтобы дать возможность немедленно отреагировать на множество разнонаправленных вызовов, используя наработанный личностный и интеллектуальный капитал, исходя из сложившейся ситуации и своего опыта, и выдерживать этот шок долгое время. Российская запаздывающая (рецидивирующая) модернизация – это повторяющаяся ситуация ярко выраженного и продолжительного социального стресса, «влияние которого на психологию и стиль поведения неизбежно и значительно» [13]. С другой стороны, по мнению В. Ф. Наумовой, «закольцованность» российской истории и свойство исторической, передаваемой из поколения в поколение «знакомости» не просто облегчают адаптацию к ней, они позволяют накапливать опыт жизни в катастрофических условиях. Это феномен так называемых «цивилизаций суровой истории». Рецидивирующая, т.е. периодически возвращающаяся догоняющая модернизация с ее тяжелыми социальными последствиями и высокой человеческой ценой – один из ключевых элементов непростой истории России, в результате которого сформировалась система рациональных, т.е. социально и личностно эффективных ответов человека на вызовы исторической судьбы. Возникает «цивилизация суровой истории» как естественно сложившийся, оптимальный способ жизни [13].

Так или иначе, можно заметить, что нужен сопоставительный анализ несовпадающих «списков» доминантных черт личности и компенсирующих психологических механизмов, требуемых социумом от человека, движущегося по пути индивидуальной модернизации. С одной стороны, это движение может происходить в рамках последовательной, продуманной длительной стратегии на изменение социально-культурного и психологического типа личности в сторону модерности, с другой стороны, по выражению Ортеги-и-Гассета, в условиях «растворения всякой перспективы в клубке окказиональностей», когда сиюминутные запросы современности выдвигают на первый план иные инициированные извне социально-психологические установки и приоритеты.

#### *Список литературы*

1. **Федотова, В. Г.** Человеческий капитал, персональная модернизация и проблема развития человека / В. Г. Федотова // Знание, понимание, умение. – 2007. – № 1. – С. 163.
2. **Федотова, В. Г.** Модернизация «другой» Европы / В. Г. Федотова. – М. : Изд-во ИФ РАН, 1997.
3. **Арнасон, Й.** Коммунизм и модерность / Й. Арнасон // Теории социального изменения. Проблема множественности модерности. Аналитический обзор / П. Н. Фомичев. – М. : ИНИОН РАН, 2001.
4. **Гавров, С. Н.** Модернизация во имя империи / С. Н. Гавров. – М. : Эдиториал УРСС, 2004. – С. 18.
5. **Нисбет, Р.** Прогресс: история идеи / Р. Нисбет. – М. : ИРИСЭН, 2007.
6. **Айзенштадт, С.** Множественные модерности / С. Айзенштадт // Теории социального изменения. Проблема множественности модерности. Аналитический обзор / П. Н. Фомичев. – М. : ИНИОН РАН, 2001.
7. **Сиземская, И. Н.** Три модели развития России / И. Н. Сиземская, Л. И. Новикова. – М. : Изд-во ИФ РАН, 2000. – С. 97–100.

8. **Мангейм, К.** Диагноз нашего времени / К. Мангейм. – М. : Юрист, 1994. – С. 414.
9. **Бек, У.** Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек. – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – С. 36.
10. **Маслоу, А.** Мотивация и личность / А. Маслоу. – М. : Питер, 2006. – С. 193–195.
11. **Межуев, В. М.** Проблема современности в контексте модернизации и глобализации / В. М. Межуев // Экономические модели модернизации / под ред. В. Н. Шевченко. – М., 2002. – С. 143.
12. **Штомпка, П.** Социология социальных изменений / П. Штомпка. – М. : Аспект-Пресс, 1996.
13. **Наумова, Н. Ф.** Рецидивирующая модернизация в России: беда, вина или ресурс человечества? / Н. Ф. Наумова. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. – С. 18.
14. **Травин, Д.** Европейская модернизация / Д. Травин, О. Маргания. – М. ; СПб. : Terra fantastica, 2004. – Кн. 1.
15. **Бабочкин, П. И.** Становление жизнеспособной молодежи в динамично изменяющемся обществе / П. И. Бабочкин. – М., 2000.
16. **Федотова, В. Г.** Апатия на Западе и в России / В. Г. Федотова // Вопросы философии. – 2005. – № 3.
17. **Бауман, З.** Индивидуализированное общество / З. Бауман. – М. : Логос, 2005. – С. 59.

## В. С. СОЛОВЬЕВ: ЭКОНОМИКА С ПОЗИЦИЙ ФИЛОСОФИИ МОРАЛИ

В статье рассматриваются проблемы, связанные с ролью и значением нравственности в предпринимательстве, затронутые в этике В. С. Соловьева. Центральной идеей Соловьева при анализе экономической жизни является признание ее особым, своеобразным поприщем для единого (точнее, триединого) нравственного закона. Подобное признание абсолютного превосходства духовного начала над материальным позволяет Соловьеву сделать целый ряд выводов, сохраняющих исключительно важное значение и для организации хозяйственной жизни в современной России.

В начале XXI в. в России завершился переход к рыночной экономике. Его негативная, с нравственной точки зрения оценка не подлежит сомнению. Все было безнравственно: и приватизация, и шоковая терапия, и обнищание половины населения, и связь бизнеса с криминалом. Сейчас, когда хозяйственная жизнь в стране приобрела относительную устойчивость и даже отмечается некоторый подъем экономики, весьма актуален вопрос о том, насколько удастся в наших экономических отношениях воплотиться нравственному началу.

Огромную помощь в таком исследовании может оказать этический анализ экономики В. С. Соловьевым. Следует отметить, что в публикациях, посвященных этике бизнеса и этике хозяйства вообще, ссылаются в основном на многочисленные работы зарубежных авторов, а идеям Соловьева не уделяется внимание, хотя, на наш взгляд, ему глубже, чем кому-либо, удалось рассмотреть экономический вопрос «с нравственной точки зрения».

Как известно, этика Соловьева строится на трех основных добродетелях: господстве над материальной чувственностью, солидарности с живыми существами и добровольном подчинении сверхъестественному началу. От первичных данных нравственности Соловьев переходит к выводимым из них принципам.

Согласно первому нравственному принципу, на страже которого стоит чувство стыда, животная (материальная) жизнь в человеке должна быть подчинена духовной. Речь идет здесь не об отождествлении материальной природы со злом, а всего лишь о недопустимости подчинения всей жизни человека материальной природе (питание, сон, размножение). Данный принцип, имеющий прямое отношение к хозяйственной деятельности, Соловьев называет аскетическим началом нравственности. Но аскетизм не является безусловным или высшим принципом. Он приобретает нравственное значение только при условии соединения с принципом альтруизма, коренящимся в *жалости*, и с принципом *свободного подчинения* своей воли требованиям высшего начала, который приводит всякое разумное существо к признанию своей зависимости от чего-то высшего: родителей, предков, а затем и Бога.

Религиозное чувство в качестве безусловного и всеобъемлющего начала жизни возводит затем на ту же высоту и два других нравственных чувства: стыд и жалость. Добродетель, согласно Соловьеву, есть нормальное или должное отношение человека ко всему: низшему, подобному, высшему. Основных же добродетелей три, а остальные (в том числе и христианские: вера, надежда, любовь) являются таковыми лишь постольку, поскольку выражают эти три.

Акцент на трех выделенных Соловьевым основаниях нравственности делается потому, что именно их взаимосвязь и единство положено мыслителем в основу анализа экономической жизни. «Триединое нравственное начало, – писал он, – определяющее наше должное положение относительно Бога, людей и материальной природы, находит свое всецелое и нераздельное применение в области экономической» [1, с. 417].

Подчинение триединому нравственному началу – таков первый методологический принцип, который может быть взят из учения Соловьева и применен для анализа любой экономической и хозяйственной деятельности. Другая основополагающая идея Соловьева, позволяющая понять высший смысл и назначение хозяйства и экономики, касается общего процесса совершенствования человечества и перехода его от «зверочеловечества» к «богочеловечеству». «Камень существует, – рассуждал философ, – растение существует и живет, животное, сверх того, сознает свою жизнь в ее фактических состояниях, человек уразумевает ее смысл по идеям, сыны Божии осуществляют действительно этот смысл, или совершенный нравственный порядок, во всем до конца» [1, с. 268].

При этом Соловьев считал, что только благодаря христианству мы можем добиваться осуществления достойного бытия во всем. Христианство в отличие от буддизма не ограничивается безвольным отрешением от жизни и в отличие от древнегреческого идеализма Сократа и Платона не останавливается только на умственном созерцании положительного идеала. Таким образом, жизненная задача человека в сфере экономики совпадает с общей задачей христианина по спасению мира и превращению его в Царство Божие. Уже здесь в свете нравственного идеала заметно существенное отличие бизнесмена, решающего чисто экономические задачи, от предпринимателя, в ходе деятельности которого достигается «совершенный нравственный порядок».

Несостоятельность ортодоксальной (буржуазной) политэкономии Соловьев видит в том, что она отделяет принципиально область хозяйственную от нравственной. Никаких самостоятельных экономических законов, никакой абсолютной экономической необходимости, по мнению Соловьева, не существует. Самостоятельный и безусловный закон для человека только один – нравственный; необходимость тоже только одна – нравственная. Свободную игру экономических законов, не связанную и не определенную нравственными целями, он сравнивает со свободной игрой химических элементов в разлагающемся трупe, поскольку именно нравственность составляет стержень социальной и личной жизни.

Обособление экономической деятельности как самостоятельной и себедовлеющей приводит к тому, что вещественное благо (материальное богатство) признается экономистами самостоятельным благом и окончательной целью хозяйственной деятельности. Виновным в этом «грехе» подмены, по мнению Соловьева, является уже Адам Смит. Фредерик Бастиа также писал о гармонии личного интереса с общим, поскольку каждый, заботясь только о себе (и о своих), невольно работает и на пользу всех.

Наши идеологи рыночной экономики отделяются от упреков в эгоизме точно такими же доводами, как и их «классические» предшественники, поэтому критика Соловьева непосредственно относится и к их аргументам. Соловьев прямо указывает на недостаточность «естественной связи экономических отношений». Для того чтобы всякий, трудящийся для себя, трудился

вместе с тем и для всех, необходимо сознательное направление к общему благу. Иначе, по его мнению, «естественная гармония» и «индивидуалистическая свобода интересов» неизбежно обернутся хищениями, обманами, эксплуатацией чужого труда, что и было характерно для древнего рабовладения, средневекового господского права и современной плутократии. «Исходя из частного, материального интереса как цели труда, – писал Соловьев, – мы приходим не к общему благу, а только к общему раздору и разрушению» [1, с. 427].

Логику утилитаризма Соловьев считал несостоятельной. Согласно этой логике, всякий желает себе пользы, но польза всякого состоит в том, чтобы служить общей пользе, следовательно, всякий должен служить общей пользе. Верным, по мнению Соловьева, является только заключение, а посылки ложные, и соединение их ложно. Многие желают лишь того, что доставляет им непосредственное удовольствие, пусть даже и вредное по своим последствиям. Та польза, как считал Соловьев, которую желает себе всякий, не имеет никакого отношения к всеобщему благополучию, а та польза, которая состоит в общем благополучии, не есть та, которую желает всякий.

Несводимость нравственности к критериям полезности Соловьев остроумно продемонстрировал на примере открытия печатного станка и парового котла: несмотря на огромную полезность данных изобретений, действия Гуттенберга и Уатта следовало бы признать безнравственными, если бы вдруг ради этих открытий им пришлось намеренно и сознательно пожертвовать хотя бы только одним дикарем или варваром.

Безнравственность капиталистической системы хозяйства Соловьев усматривает не в индивидуальной или наследственной собственности, не в разделении труда и капитала и не в неравенстве имуществ, а именно в плутократии, т.е. в извращении должного общественного порядка и возведении низшей и служебной по существу области (экономической) в степень высшей и господствующей и в низведении всего остального до значения средства и орудия материальных выгод. Тот же самый упрек, по мнению Соловьева, можно сделать и социализму. Когда рабочий класс начинает заботиться исключительно о своем материальном интересе, он оказывается столь же своекорыстным и теряет всякое нравственное преимущество перед буржуазией. У обеих сторон один и тот же девиз: «О хлебе едином жив будет человек» [1, с. 414].

Таким образом, центральной идеей Соловьева при анализе экономической жизни является признание ее особым, своеобразным поприщем для единого (точнее, триединого) нравственного закона. Подобное признание абсолютного превосходства духовного начала над материальным позволяет Соловьеву сделать целый ряд выводов, сохраняющих исключительно важное значение и для организации хозяйственной жизни в современной России:

1. Экономика не может быть построена на основе частного интереса. Частное своекорыстие нуждается в постоянном ограничении как со стороны собственного морального сознания, так и со стороны правительственной власти. «Провозглашать здесь *laissez faire, laissez passer*, – писал Соловьев, – значит говорить обществу: *умри и разлагайся!*»<sup>1</sup> [1, с. 408]. Так, *некоторые* русские помещики еще до официальной отмены крепостного права отпускали на

<sup>1</sup> Выражение «Позвольте делать (кто что хочет), позволяйте идти (кто куда хочет)» принадлежит французскому экономисту Ж. К. Гурне (1712–1759); оно стало в XVIII в. общим принципом экономистов, требовавших невмешательства со стороны государства в экономические отношения капиталистического характера.

волю своих крестьян из-за нравственных соображений, но после решения правительства *никто* уже не мог покупать и продавать крестьян. Точно так же, если сейчас лишь некоторые представители крупного бизнеса могут отказаться от фантастического размера прибыли, переводя часть денег на благотворительные цели, то после принятия разумных правительственных законов можно было бы сделать подобные накопления невозможными. Если, например, актриса за съемки фильма получает десять миллионов долларов, значит, экономические отношения в шоу-бизнесе этой страны строятся на «естественных», т.е. оторванных от нравственных норм принципах. Не случайно современные экономисты-рыночники, пытаясь любым способом освободить экономику от нравственных ограничений и открыть дорогу «естественному» стремлению каждого человека к прибыли, обращаются за поддержкой к «естествознанию», в частности ссылаясь на синергетику, на самопроизвольное рождение порядка из хаоса и подобные неадекватные случаю примеры.

Признавая частную собственность на средства производства и на землю необходимым общественным условием нравственного прогресса, Соловьев в то же время считал, что государство должно препятствовать злоупотреблению своим имуществом в ущерб общему благу или общественной правде. Точно так же нельзя считать злом такие экономические явления, как деньги, торговля и банки. Они становятся злом, когда вместо необходимого обмена служат корысти и обману. Превращение материального интереса из служебного в господствующий порождает фальсификацию товаров, спекуляцию и ростовщичество.

Соловьев критиковал существовавшее в политэкономии определение, согласно которому торговля рассматривалась как «занятие покупкой и продажей товаров с целью получения прибыли». Если торговля должна быть только прибыльной, то этим узаконивается и всякая выгодная подделка товаров, и всякая успешная спекуляция, и всякое неограниченное ростовщичество. «Необходимо признать, – писал Соловьев, – что торговля и вообще обмен может быть орудием частной прибыли лишь под неперменным условием быть первее того общественным служением, или исполнением общественной функции для блага всех». Нормальное общество, по мнению Соловьева, должно решительно противостоять «пышным произрастаниям безмерного корыстолюбия». Мы видели в 90-е гг., как наше общество решительно способствовало крупномасштабным аферам и спекуляциям.

2. Нравственная обязанность воздержания не может признать нормальным безудержный рост потребностей и такой же рост производства вещей, удовлетворяющих эти потребности. Соловьев с иронией спрашивает: «Где в области экономической хоть какое-нибудь учреждение, в котором объективировалась бы добродетель воздержания?» Речь тут идет не об индивидуальных качествах директора или отдельных работников, которые могут быть аскетами в жизни, а об общей цели частного предприятия, существующего благодаря возникновению новой потребности и процветающего благодаря ее всяческому раздуванию и рекламированию.

Потребности могут возрастать и осложняться до бесконечности. Соловьев приводит пример с потребностью в порнографии, с извращенной способностью ума и воли к ловкому устройству мошеннических афер на легальной почве. Политэкономия сама по себе, как наука, ограниченная материальной и фактической стороной дела, не может сдерживать эти явления. Для это-

го нужно подчинить эти вопросы высшей причинности, т.е. выйти за рамки политической экономии и обратиться к нравственному началу, именно оно определяет, что должно, а что не должно делаться в сфере экономической.

Для Соловьева экономизм неотделим от аскетизма, поскольку нормальный принцип экономической деятельности есть экономия, сбережение, концентрация психических сил. То, что норма материальной жизни есть воздержание, по его мнению, было ясно для философских школ еще в древности, однако к XIX в. эта истина стала едва «брезжущей» в таких явлениях, как аскетическая мораль Шопенгауэра, успехи вегетарианства, распространение индуизма и буддизма и т.д. Можно уверенно сказать, что к XXI в. «мерцание» аскетизма в российской экономике исчезло вообще. Погоня за наживой поглотила не только частных предпринимателей, но и государственных служащих.

Соловьев считал, например, что производство предметов роскоши должно быть сокращено, что беды не будет, если некоторые капиталисты-фабриканты вместо миллиона будут получать полмиллиона, вместо ста тысяч – пятьдесят из-за сокращения производства товаров, не являющихся необходимыми. Современным экономистам подобные рассуждения могут показаться наивными. Но ведь они и не предполагали учета нравственных побуждений в процессе производства и распределения. С самого начала их интересовал человек только как деятель экономической – производитель, собственник и потребитель вещественных благ. Соловьев называет такую точку зрения «ложной и безнравственной».

3. Нравственная точка зрения обязывает пересмотреть понятие труда, закрепившееся в классической политической экономии. Кроме того, что нельзя его связывать с удовлетворением всяких потребностей, его целью нельзя считать произведение наибольшего богатства.

Человек, во-первых, должен трудиться с сознанием и желанием общепольности своего труда, смотреть на него как на обязанность исполнения воли Божией и служения благосостоянию ближних.

Во вторых, труд несовместим с унижением человеческого достоинства, которое имеет место при грубо механическом характере работы и чрезмерном напряжении мускульной силы, а также если он по своей ежедневной продолжительности поглощает все время и все силы рабочего, не оставляя ни времени, ни сил для мыслей и забот духовного порядка. «Итак, с нравственной точки зрения требуется, чтобы всякий человек имел не только обеспеченные средства к существованию (т.е. пищу, одежду и жилище с теплом и воздухом) и достаточный физический отдых, но чтобы он мог также пользоваться и досугом для своего духовного совершенствования. Это и только это требуется для всякого христианина и рабочего, лишнее же от лукавого» [1, с. 423].

В-третьих, нравственное требование к труду как взаимодействию людей в материальной области связано с обязанностями человека относительно той самой материальной природы, которую он обрабатывает. Соловьев признавал, что на эту сторону труда еще никто не обращал серьезного внимания. Природа, по его мнению, так же, как и наши ближние, не должна быть лишь безразличным орудием экономического производства и эксплуатации. Ее подчиненное положение относительно Божества и человечества не делает ее несправедливой: она имеет право на нашу помощь, направленную на ее преобразование и возвышение. «Цель труда по отношению к материальной природе не

есть пользование ею для добывания вещей и денег, а совершенствование ее самой – оживление в ней мертвого, одухотворение вещественного» [1, с. 427].

Соловьев не указывал на конкретные способы такого преобразования и одухотворения. Они могут быть неизвестны и до сих пор, однако принципиально важно понять, что без любви к природе *самой по себе* нельзя осуществить нравственную организацию материальной жизни и что, кроме подчинения природы и борьбы с ней, у человека есть еще нравственная задача, выражающаяся в утверждении ее идеального состояния – того, чем она *должна стать* через творческую деятельность человека.

Простая материальная необходимость труда для поддержания своего существования всегда осложняется нравственным вопросом – заботой о других людях, заботой о природе. Соловьев, таким образом, предлагал новое понятие труда: «Труд есть взаимодействие в области материальной, которое, в согласии с нравственными требованиями, должно обеспечивать всем и каждому необходимые средства к достойному существованию и всестороннему совершенствованию, а в окончательном своем назначении должно преобразовать и одухотворить материальную природу» [1, с. 420].

4. Еще один важный вывод, который можно сделать из этики Соловьева, касается последовательности осуществления нравственной организации человечества. Хотя такая организация представляет собой нераздельную триединую задачу (церковь собирает и организует благочестие, государство – жалость и симпатию, а экономика – материальную жизнь и природу), исторически, по мнению Соловьева, она решается в определенной последовательности. На первый план выступает сначала религиозная христианская задача, затем политическая и только после этого экономическая.

Должная организация экономических отношений, т.е. устройство нравственной связи между человеком и материальной природой, обусловлена нормальным религиозным положением человечества, определяемым церковью, и нормальными межчеловеческими или альтруистическими отношениями, утверждаемыми в государстве. Этой последовательностью, кстати, Соловьев объясняет тот факт, что христианское хозяйство в конце XIX в. находилось еще в отсталом состоянии «видимого небытия». Он указывает, что кулачное право средних веков так же не соответствовало нравственной норме государства, как банки и биржи XIX в. – нравственной норме экономических отношений.

Для современной России этот вывод важен тем, что наши экономические преобразования зачастую выдвигаются на первый план. Многие экономисты склонны рассуждать и действовать по старой (марксистской) схеме – наскоком и насильственно проводить экономические преобразования (приватизацию, либерализацию цен), отодвигая политические и духовные задачи на последующий период. В советское время официально говорилось о первичности экономики, но на деле важнее всего считалась политика и идеология. В 90-е гг. рыночная экономика сама становится идеологией. И если первое условие для создания нравственной экономики было как-то выполнено (активность церкви по организации благочестия значительно возросла), то от организации жалости и справедливости государство отказалось, страна была охвачена жестоким, своекорыстным и криминальным бизнесом. Русскому предпринимателю пришлось уступить дорогу безнравственному бизнесу.



Как видим, обращение к творческому наследию В. С. Соловьева могло бы избавить нашу экономику от досадных просчетов и моральной бесперспективности.

***Список литературы***

1. **Соловьев, В. С.** Оправдание добра. Нравственная философия / В. С. Соловьев // Сочинения : в 2 т. – М. : Мысль, 1988. – Т 1. – 892 с.

## СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК И ЕГО ЛЕГИТИМНОСТЬ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНЫЕ РЕАЛИИ

В статье рассматриваются власть и социальный порядок в контексте их социокультурной и ценностно-нормативной обоснованности. Акцентируется, что основания легитимности социального порядка непосредственно связаны с рамочными условиями, ценностями, нормами, задающими базовые параметры взаимодействия и коммуникации социальных акторов и через это организующими и определяющими саму возможность (и способ) воспроизводства единого социального пространства.

*Легитимность* в пределе может быть понята как некое состояние власти, социально-политического порядка и всей социальной системы в целом, характеризующихся внутренней согласованностью, интегрированностью посредством определенной системы ценностей, норм, смыслов, которые образуют социокультурную традицию, укорененную в данном обществе. *Легитимация* в таком случае выступает как процесс осуществления и воспроизводства данного состояния, его «процессуирования», а также как «путь», ведущий к нему. Очевидно, что понята таким образом проблема легитимации (легитимации социокультурной) оказывается теснейшим образом соотнесена и связана с проблемами воспроизводства и проектирования определенной социокультурной идентичности, что актуализирует как историко-социокультурные, так и философско-аксиологические аспекты данной проблемы.

При видении социальных реалий в рамках допущения, что «всеобщее» существует в той мере, в какой оно «признается» индивидами и ориентирует их поведение (М. Вебер), социальные институты (как устойчивые, воспроизводящиеся формы социальных практик) предстают в перспективе действий индивидов и *смысловой соотнесенности* таковых (действий) друг относительно друга. Но дело в том, что субъективные цели осуществляемых индивидами социальных практик зачастую оказываются несовпадающими с их объективными следствиями, что и побуждает акцентировать важность непреднамеренных следствий практик. Хотя «наши институты и традиции <...> представляют собой результаты человеческих действий и решений и изменяются под их влиянием», однако, как указывал К. Поппер, «даже те институты, которые возникают как результат сознательных и преднамеренных человеческих действий, оказываются, как правило, непрямыми, непреднамеренными и часто нежелательными побочными следствиями таких действий» [1].

Очевидно, что индивиды всегда ангажированы в некий социальный контекст и социальную целостность, являющиеся необходимыми условиями их существования. Само общество – это не только сложная система отношений между отдельными индивидами, но и совокупность структур, условностей, институтов, ценностей, идеологий, вкусов, стилей и т.п. Таковые существуют и распространяются в том или ином наборе в каждом конкретном человеке и не могли бы существовать, если бы этого не происходило [2]. В такой перспективе индивид предстает своего рода «социальным микрокосмом»,

отражающим и преломляющим своей субъективностью (неминуемо предполагающей и интерсубъективность) ту социокультурную реальность, в которую он оказывается помещенным. При всем при этом онтологически социальный мир остается укорененным в «человеческой деятельности, в процессе которой он и создается» [3, с. 102]. Экстернализация, при которой человек проецирует свои собственные значения на реальность, и объективация, в процессе которой «экстернализированные продукты человеческой деятельности приобретают характер объективности», суть «два момента непрерывного диалектического процесса» (П. Бергер, Т. Лукман). Третьим моментом такового являются процессы *интернализации*, через которые «объективированный социальный мир переводится в сознание в ходе социализации» [3, с. 101, 102]. Результатом оказывается то, что, находясь в пространстве социального, человек предстает одновременно как в качестве агента влияния социокультурных, властных и т.д. структур, так и в качестве субъекта сознательной, целенаправленной деятельности, способного (в тех или иных пределах, границах) к проектированию собственной идентичности.

Доминирующие ценности, нормы, смыслы могут быть поняты здесь, с одной стороны, как образующие интерсубъективное концептуально-смысловое пространство, априорное по отношению к социальным практикам конкретных индивидов. С другой стороны, возможно акцентировать внимание именно на коммуникативных взаимодействиях, практиках индивидов, групп, сообществ, в ходе которых выкристаллизовывается, воспроизводится и модифицируется общее нормативно-смысловое, ценностное пространство, задающее горизонт социокультурной идентичности, самовыражения и деятельности индивидов и сообществ. В своей наличной данности определенные ценности, нормы, смыслы, будучи интернализированными индивидами в качестве структур их собственной идентичности, обычно предстают для них как нечто самоочевидное, ненуждающееся ни в каких дополнительных обоснованиях и подкреплениях. Но таковые могут предстать и как нечто объективированно-отчужденное, связываемое исключительно с определенными воплощающими их внешними структурами, институтами, властью, воспринимаемыми в качестве противостоящих индивидам сил, сущностей, сковывающих их активность, и таким образом подвергаться проблематизации (различной степени и интенсивности).

Очевидно, что степень фактической легитимности<sup>1</sup> некоего властно-политического, а если шире, то социального порядка в целом, в таком случае преимущественно будет определяться степенью соотнесенности (в пределах совместимости) смыслов и практик, провозглашаемых, осуществляемых, внедряемых им, со смыслами и практиками, укоренившимися в данном социуме, признаваемыми в качестве «значимых» основной массой индивидов и их сообществ, объединений, социальных групп.

Независимо от того, видится ли в социально-властном порядке преимущественно средство утверждения воли одних за счет других (К. Маркс) или же механизм «обеспечения коллективного целедостижения» (Т. Парсонс), в любом случае власть в качестве именно социально-политического (а не природ-

---

<sup>1</sup> Имеется ввиду фактическая, эмпирическая «признанность», «значимость» порядка в обществе, которая может как совпадать с его «нормативной легитимностью» (формальное соответствие нормативно-правовой базе), так и не совпадать.

ного) феномена предполагает не только «отложенное насилие», «возможное насилие» (Э. Канетти), но и «власть» определенных идей, ценностей, норм, правил над сознанием людей, придающих самим принуждающим ресурсам некий символический характер.

Социально-политические идеи, полагаемые и принимаемые в качестве регулятивных принципов и целей социального функционирования, отсылают (в том числе) к неким «основам», дающим право на принуждение и регламентированное насилие, осуществляют социокультурное, духовно-нравственное обоснование властно-политических феноменов. Конечно, в контексте так называемой «культуры подозрения» (распространение которой обычно связывают с именами К. Маркса, Ф. Ницше, З. Фрейда) данные реалии могут подвергаться весьма критическому осмыслению: стоит вспомнить К. Маркса, говорившего об идеологических феноменах как маскирующих иррациональность «общества отчуждения», создающих и поддерживающих социальные иллюзии и тем самым легитимирующих, оправдывающих наличный заведомо несправедливый социальный порядок, или Ф. Ницше, просматривавшего все человеческие реалии через призму «воли к власти», ее осуществления, утверждения, реализации. На этом фоне принципиально важно акцентировать, что легитимность предстает не только как способ идеологического обоснования определенного порядка, но и как такой механизм существования власти, который гарантировал бы определенную безопасность от ее воздействия. А это подразумевает, что, с одной стороны, признается право властной инстанции на руководство, в том числе монополия на принуждение, а с другой, что участники социально-властных отношений принимают *общие рамки (стандарты) власти как символического посредника, обеспечивающего выполнение обязательств*. Власть, будучи таким образом соотнесена с особой всеобщей сферой, предстает как нечто структурное, безличное, способное выражать всеобщий интерес [4]. Как утверждал Т. Парсонс, легитимизация в системах власти является фактором, во многом аналогичным «уверенности во взаимном зачете и стабильности платежной единицы в денежных системах». Соответственно, «применение власти, как и использование денег, по сути дела, должно сводиться к жертвованию альтернативными решениями, которые исключаются из-за обязательств, взятых властью на себя в соответствии с определенной политикой» [5]. Поясняя эту мысль, М. В. Ильин и А. Ю. Мельвилл указывают, что если власть выступает как в чем-то сравнимый с деньгами символический посредник, «то может происходить ее «девальвация» и «ревальвация». Все зависит от того, насколько предсказуемо и точно будут выполняться взаимные обязательства властей и подвластных, равно как и граждан по отношению друг к другу. Чем надежнее выполнение всех этих обязательств, тем выше «цена» власти, а чем сомнительнее становится выполнение обязательств, тем ниже падает доверие к власти, а значит, и к призванным обеспечивать ее поддержание и циркуляцию акторам» [6].

Позитивность власти может проявляться в том, что она, опираясь на процессы самоорганизации в обществе, способна инициировать продуктивные и органичные для данного общества нововведения и заимствования, перерастающие в его естественное, эволюционное движение. Но при этом *ориентация лишь на эффективность – недостаточное основание власти*, т.к. неудачи почти неизбежно будут ставить ее под вопрос и грозить крахом

(в таком случае остается только надежда на силу и принуждение для удержания положения, поставленного под угрозу).

Важно акцентировать внимание на аксиологическом измерении бытия социума и власти: именно ценности, выступая в качестве средства, формирующего сами социальные отношения и управляющего процессами социальной интеграции и дифференциации, образуют собственно социокультурный механизм взаимодействия людей (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Ю. Хабермас). Разделяемые обществом ценности представляют собой убеждения людей относительно целей, к которым они должны стремиться, и основных средств их достижения. Легитимность, будучи несводимой к эффективности (хотя и соотносимой с ней), предстает здесь как «действительная правомочность», выраженная социальной поддержкой ценностей, которые воплощает власть и режим. Правомочная власть выступает как «власть, охраняющая и развивающая ценности общества и принципы его политического строя» [7]. Пользуясь широкими средствами социальной поддержки, она в меньшей мере может прибегать к принуждению и манипуляции для укрепления своих распоряжений. Как утверждал К. Ясперс, «легитимность подобна кудеснику, беспрестанно создающему необходимый порядок с помощью доверия, нелегитимность – это насилие, которое повсеместно порождает насилие, основанное на недоверии и страхе» [8, с. 172, 173].

Во всяком социуме присутствуют символические и моральные границы (связанные с устоявшимися схемами мышления, восприятия, оценивания), которые выражаются через нормативные запреты, а также представления и практики, посредством которых определенные реалии фиксируются, маркируются и отграничиваются как маргинальные или даже чуждые, инородные данному сообществу (и, стало быть, в последнем случае имеется устойчивая тенденция к отторжению таковых и даже к восприятию в качестве своего рода «табу»). Периоды переоценки и ревизии символических и моральных границ часто могут приводить к возникновению «моральной паники» и требованиям переопределить и очертить заново эти границы [9]. Легитимность порядка предполагает как наличие определенных норм, правил, регламентаций разного рода (необязательно правовых в строгом смысле слова), так и их принятие, соблюдение, если не обществом в целом, то значимой его частью. Поэтому возможна она лишь в условиях некоей социальной целостности. И хотя всякая легитимность может обнаруживать момент относительности, а ее основания в принципе всегда могут быть подвергнуты критике [8, с. 172, 173], обоснованным представляется утверждение, что «социум и легитимность – неразделимые явления и понятия: *общество образует и сохраняет стабильность на базе какой-то легитимности*. Но последняя может поддерживаться только в социальной среде, сознающей и признающей свою целостность (пусть даже это целостность нарождающаяся, еще неустойчивая, самого низшего порядка)» [10].

Практика легитимации, обращая нас к контексту социокультурной релевантности определенных институций, практик, установлений, форм их реализации и т.д., подразумевает их ценностностную, духовно-нравственную обоснованность (по крайней мере, приемлемость) в рамках данной перспективы (заданной историко-культурной традицией и в пределе устремленной к универсальности через взаимодействие, диалог с другими традициями, «жизненными мирами»).

Если представить публичную (политическую) власть в социуме как организованную зависимость одних людей от других в рамках признаваемой ими общей социально-политической идеи (и связанных с ней принципов, ценностей, норм), то логично утверждать, что «критерием легитимности здесь, очевидно, служит сама идея, объединившая данных людей, а точнее ее содержание» [11, с. 59]. Согласно А.-Н. З. Дибирову, наиболее важными моментами таких идей, полагаемых и принимаемых в качестве регулятивных принципов и целей социального функционирования (с точки зрения их легитимирующей силы), представляются: во-первых, зафиксированное в них отношение к религии (различные варианты религиозных и светских форм легитимности) и, во-вторых, представление об отношении государства как политического института к сфере частной жизни людей (гражданскому обществу) [12]. В конечном итоге подразумевается соотнесенность этих идей, связанных с ними принципов, ценностей, норм с более широким социокультурным (и хозяйственно-экономическим) контекстом, укладом. Соответственно, здесь следует указать на две фундаментальные идеи, наиболее повлиявшие (и влияющие) на концептуализацию и «институциональный дизайн» социально-политических реалий: 1) религиозную идею, в рамках которой «легитимной» считается та «нормативная» и «социально-политическая структура», которая в своей основе отражает и поддерживает высший, сакральный порядок, а властные полномочия исходят из сферы божественного; 2) идею «служения народу» как единственному «земному богу» и источнику верховной власти<sup>1</sup>, оформившуюся в итоге в чисто светский принцип легитимности государственной власти [11, с. 59, 60].

В данной связи обращает на себя внимание понятие «народной перспективы в политике», активно обсуждаемое рядом российских философов и политологов. Будучи связанными с интерпретацией ряда идей Н. Макиавелли, построения в духе «народной перспективы» отсылают в том числе к проблеме соотношения политических и моральных ценностей, «морали частной» и «политической». Так, Б. Г. Капустин сущность последней усматривает в том, что «в ней осуществляется, разрешается и воспроизводится вновь то *неустранимое противоречие между политикой* как коллективно организованной, конфликтной, властной деятельностью плюральных субъектов и (*частной*) *моралью* как совокупностью «трансцендентных», универсалистских и императивных ориентаций индивидуального сознания» [13]. Постулаты специфической политической морали, согласно точке зрения российского философа, являются выражением «народной перспективы», выступающей этическим пределом политики и власти. «Политик утрачивает эту перспективу, если мотивом его поступков оказываются корыстные интересы властей предрежащих. Однако, руководствуясь общечеловеческой моралью, он обрекает себя на пассивность, поскольку любое подлинно политическое действие требует разделения на «своих» и «чужих» [14].

О. В. Гаман-Галутвина, двигаясь в русле «политического реализма», конкретизирует рассуждения об этическом измерении политики утверждением, что определяющим критерием нравственности в этой сфере является соответствие политики национально-государственным интересам. При этом

---

<sup>1</sup> При этом, конечно, многое еще зависит от того, какая концепция «народа» и «народной перспективы» развивается.

«либеральная парадигма», трактуемая «политику в целом и мировую в частности как сферу сотрудничества, взаимопомощи, безопасности, права, интеграции», рассматривается как «идеалистическая» [15].

При всей «реалистичности» подобных построений представляется, что в современных условиях ориентация политики лишь на «народную перспективу» или же «государственный интерес» не может быть признана достаточной: в правовом государстве принципиально важной является именно ответственность власти перед законом и правом (в котором выражена воля народа), ориентация на права и свободы личности.

В этой связи интересна позиция украинского исследователя Г. А. Гребенника. Разрабатывая проблему связи политики с моралью, он обращает внимание на «макиавеллианский» и «кантианский» дискурсы и соотносит их следующим образом: «Если макиавеллианский дискурс – это дискурс власти, который осуществляется наверху социальной иерархии и посредством гигантского аппарата, то кантианский дискурс – это дискурс свободы, дискурс одного, скажем, рядового избирателя». При этом свобода – это «бытийственная категория, в политике она приземлена, расщеплена на свободы и права, но свое первородство она выражает в морали, понимаемой по-кантовски – как универсальная, абсолютная структура ценностей. Без нее политика утратит свое «небо». Мы потеряем сам критерий моральности. Неужели морально все то, что служит укреплению государства?» [16, с. 710–717]. Как считает автор, именно моральная мотивация, включающая в себя представление о несправедливости, личном достоинстве, правах человека, выступает важнейшей мотивацией гражданской активности в демократическом обществе, а «массовидность дискурса свободы и качество политической культуры определяют качество демократического строя» [16, с. 710–717].

Насколько этически оправданным выглядит некий порядок, власть; какое моральное основание они имеют (и имеют ли?) под собой? Данный аспект традиционно является значимым как в этико-политических рефлексиях социальных мыслителей, так и для массового сознания. Более того, вопросы легитимности, что вполне соответствует духу традиций политической философии, могут даже сводиться в конечном счете к вопросам моральных прав: поскольку политика, власть сопряжены с насилием, политические явления оцениваются с точки зрения уместности и «справедности» его применения, а понятие о легитимности отсылает нас не только к юридическому авторитету, но и к моральному праву. Поэтому суть дела может видеться именно в том, «каким же образом осуществляется или завершается эта связь между правом и моралью через утверждение легитимности» [17].

Современное легально-правовое развитие общества, являясь результатом широкой экономической, социальной, политической, культурной модернизации, приводящей к ослаблению традиционных религиозно-мифологических, сакральных механизмов и принципов легитимации власти и самолегитимации общества, предполагает становление либерально-демократической традиции и связанных с нею идей и ценностей, ядро которых составляют права и свободы личности. Современность фактически утвердила в качестве моральной константы свободного и автономного индивида, границы свободы которого «определены и сохраняются... в той мере, в какой она (свобода – С. К.) могла бы сочетаться со свободой других» [18]. В качестве социального горизонта здесь полагается «найти такую форму ассоциации, которая защищает и огра-

ждает всею общею силою личность и имущество каждого из членов ассоциации и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде» [19]. При этом (вслед за П. Рикером [20]) важно констатировать, что утверждаемое таким образом согласие имеет идеальный характер: устанавливается оно не столько в процессе фактически заключенного «общественного договора», сколько в договоре подразумеваемом и негласном, который рождается в ходе становления общественно-политического сознания сообщества, ретроспективно, в результате рефлексии и коммуникации.

Определенные идеи, представления, соответствующие им социально-политические установки, переживания, стереотипы, обнаруживая свою укорененность в социуме, «материализуясь» в институтах, практических обычаях и привычках, оказываются способны формировать жизнь реальной политики и власти. И хотя непосредственно политическая коммуникация может быть ориентирована на нечто такое, что могло бы встретить возражения и еще нуждается в обсуждении, в ее структуре некоторым образом уже скрыты ценности и рамочные условия, определяющие саму возможность коммуникации. «Они предполагаются, допускаются в форме намеков и импликаций» [21] и в случае устоявшихся интеракций могут «коммуницироваться» вообще незаметно. При этом «сами по себе политические ценности... как определенные жизненные ориентиры, затрагивающие интересы людей, без морально-нравственных установок, придающих нравственную составляющую деятельности субъектов властных отношений, статичны, безжизненны, декларативны. Объективно они могут превращаться в простые декларативные символы...» [22, с. 33]. И именно в обществах, переживающих транзитные, переходные процессы, часто в структуре властных отношений «как бы атрофируется один из важнейших ее структурных компонентов – политические и моральные ценности» [22, с. 39], дискредитируя власть и проводимый ею курс, а негативизм по отношению к власти (как таковой) приобретает устойчивый характер. В таком случае перед нами ситуация кризиса легитимности, имеющего весьма глубокие основания в социально-политическом сознании индивидов, без преодоления которого невозможна никакая стабилизация и устойчивое развитие общества: кризис ценностей (как социально-политических, так и моральных) – это кризис перспективного целеполагания, механизмов идентичности, самовоспроизводства и развития общества.

Именно в контексте кризисного социума с особой отчетливостью выявляется, что проблема легитимации – это прежде всего проблема рамочных условий и ценностей, задающих базовые параметры взаимодействия и коммуникации социальных акторов и через это организующих и определяющих саму возможность (и способ) воспроизводства единого социального пространства вообще.

#### *Список литературы*

1. **Поппер, К.** Открытое общество и его враги / К. Поппер. – М. : Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. – Т. 2. – С. 111.
2. **Бхаскар, Р.** Общества / Р. Бхаскар // Социологос / под ред. В. В. Винокурова, А. Ф. Филиппова. – М. : Прогресс, 1991. – С. 227–230.
3. **Бергер, П.** Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. – М. : Academia-Центр: Медиум, 1995.



4. **Алексеева, Т. А.** Демократия как идея и процесс / Т. А. Алексеева // Вопросы философии. – 1996. – № 6. – С. 17.
5. **Parsons, T.** Sociological Theory and Modern Society / T. Parsons. – N. Y. : Free Press, 1967. – P. 309, 324.
6. **Ильин, М. В.** Власть / М. В. Ильин, А. Ю. Мельвиль // Политические исследования. – 1997. – № 6. – С. 159.
7. **Гайда, Ю.** Процесс легитимизации политической власти / Ю. Гайда ; под ред. В. П. Макаренко // Элементы теории политики: сборник статей ; пер. с польского. – Ростов-на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1991. – С. 408.
8. **Ясперс, К.** Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М. : Политиздат, 1991.
9. **Мейлахс, П.** Публичное пространство в дискурсе российского неомо- рализма / П. Мейлахс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // <http://www.narcom.ru/ideas/socio/116.html>
10. **Косолапов, Н. А.** Легитимность в международных отношениях: эволюция и современное состояние проблемы / Н. А. Косолапов // Мировая экономика и между- народные отношения. – 2005. – № 2. – С. 3.
11. **Дибиров, А.-Н. З.** О природе политической власти / А.-Н. З. Дибиров, Л. М. Пронский // Вестник Московского университета. – 2002. – № 2. – (Сер. 18. Социология и политология).
12. **Дибиров, А.-Н. З.** Легитимность государственной власти и ее основные типы / А.-Н. З. Дибиров // Государственная служба. – 2002. – № 2. – С. 119.
13. **Капустин, Б. Г.** Различие и связь между политической и частной моралью / Б. Г. Капустин // Вопросы философии. – 2001. – № 9. – С. 5.
14. Материалы виртуальной мастерской по политической философии // Политические исследования. – 2002. – № 4. – С. 98.
15. **Гаман-Галутвина, О. В.** Соотношение политики и морали: российский ва- риант / О. В. Гаман-Галутвина // Вестник МГУ. – 2005. – № 4. – С. 22–23. – (Сер. 12. Политические науки).
16. **Гребенник, Г. А.** Два жанра одной темы (критический анализ литературы по проблеме связи политики с моралью) / Г. А. Гребенник [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://politology2004.narod.ru/>
17. **Пилон, Р.** Права личности, демократия и конституционный порядок: об основах легитимности / Р. Пилон // Вестник МГУ. – 1992. – № 2. – С. 62. – (Сер. 12. Соци- ально-политические исследования).
18. **Кант, И.** Идея истории во всемирно-гражданском плане / И. Кант // Сочинения на немецком и русском языках: в 4 т. – М. : АО «Ками», 1994. – Т. 1. – С. 95.
19. **Руссо, Ж.-Ж.** Об общественном договоре, или принципы политического права / Ж.-Ж. Руссо. – М. : КАНОН-Пресс-Ц, Кучково Поле, 1998. – С. 207.
20. **Рикер, П.** История и истина / П. Рикер. – СПб. : Алетейя, 2002. – С. 292, 293.
21. **Луман, Н.** Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества / Н. Луман // Социологос / под ред. В. В. Винокурова, А. Ф. Филиппова. – М. : Про- гресс, 1991. – С. 207.
22. **Федоркин, Н. С.** Ценностные ориентации власти как интегрирующий фактор социального знания / Н. С. Федоркин // Вестник МГУ. – 2001. – № 2. – (Сер. 18. Социология и политология).

## ТВОРЧЕСТВО ПОЭТОВ «ОЗЕРНОЙ ШКОЛЫ» В ИНТЕРПРЕТАЦИИ Н. С. ГУМИЛЕВА

В статье проведен филологический анализ осуществленного Н. С. Гумилевым перевода баллады Р. Саути «Предостережение хирурга» («The Surgeon's Warning», 1798), рассмотрена специфика восприятия русским поэтом особенностей формы и содержания английского подлинника. Особый интерес представляет анализ материалов, связанных с деятельностью Н. С. Гумилева как переводчика баллад В. Вордсворта. Проанализированы сохранившиеся в собрании В. А. Десницкого в ИРЛИ машинописные тексты переводов стихов В. Вордсворта «Радуга» («The Rainbow», 1803) и «Характеристика трехлетнего ребенка» («Characteristics of a Child Three Years Old», 1811), осуществленных Н. А. Энгельгардтом, но кардинально выправленных Н. С. Гумилевым.

Как известно, Р. Саути получил популярность в России прежде всего как автор «готических баллад», составивших знаменитый шестой том (1836) его «Собрания сочинений». Баллады, за исключением очень немногочисленных произведений, относящихся к 1813–1829 гг., когда поэт жил в Кесвике, создавались в Бристоле в 1796–1829 гг. Вместе с тем, наряду с ярко выраженными «готическими балладами», в шестой том вошли и произведения, свидетельствовавшие об еще одном таланте Р. Саути, крайне редком для романтиков: английский поэт умело пародировал сюжеты, в том числе и свои собственные. Сразу же за «Балладой, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди» («The Old Woman of Berkley, Showing How an Old Woman Rode Double, and Who Rode Before Her», 1798), которая в переводе В. А. Жуковского (1814) перепугала русских детей и была запрещена цензурой, в шестом томе Р. Саути была помещена другая баллада – «Предостережение хирурга» («The Surgeon's Warning», 1798).

В «Предостережении хирурга» «готика» становилась фарсом: вместо притязаний дьявола на душу ведьмы описывались притязания учеников хирурга на его тело (в средние века обучаться делу врачевания приходилось на животных или на человеческих трупах, причем последнее считалось грехом); вместо католического почитания святых – почитание патентов в мастерских, торгующих гробами (в данной балладе слово «патент» означает «отменный», «выдающийся» применительно к металлическому гробу, характеризовавшемуся усовершенствованной выделкой металла) и т.п. Обе баллады были написаны и опубликованы практически одновременно – в 1799 г., однако баллада о старушке основана на латинских хрониках IX в., тогда как к балладе о хирурге добавлена ироническая приписка автора, что «сюжет и некоторые строфы были подсказаны ему другом». «Других подобных «двойных» баллад у Саути нет, но в его балладах о «недоказанном» разбойнике Рупрехте, о битве под Бленхаймом (причины которой неизвестны, но потомки точно

знают: победа англичан была славной), наконец, в балладе о привороженном Карле Великом, Шарлемане, – во всех них не столько готического пужания читателя, сколько издевательства над таким пужанием» [1, с. 538].

Саути предупреждал читателя, что «все, написанное им, – беллетристика. Все – вымысел, кроме упомянутого патентованного гроба и переулка Мартина, где жил владелец самого патента» [2, р. 456]. Главный персонаж произведения – хирург, врач, производящий вскрытия, разрезы и т.п., хотя в балладе он скорее похож на человека, одержимого некроманией, что сразу наводит на мысль о пародийном характере описания: «I have made candles of dead men's fat, // The Sextons have been my slaves, // I have bottled babes unborn, and dried // Hearts and livers from rifled graves» [3, р. 304] [Я делал свечи из жира мертвцов, // Церковные сторожа были моими рабами, // Я помещал в бутылки со спиртом зародыши детей и засушивал // Сердца и печени из разоренных могил]. И этот хирург, предчувствуя приближение смерти и опасаясь, что его ученики применят к нему то искусство, которому он их обучил, старался заблаговременно обезопасить свое тело от неприятной участи, просил после смерти положить свой труп в крепко запаянный патентованный свинцовый гроб, захоронить в церкви, запереть дверь и надежно спрятать ключ, приставить трех крепких парней с оружием и заплатить им за охрану могилы в течение трех недель. Однако никакие меры предосторожности не спасли. Трое молодых людей, охранявших тело хирурга, дважды отказывались от гиней мистера Жозефа, но в третью ночь «их совесть, что была дотоль чиста, в минуту стала недостойной» [3, с. 531]. Они взяли деньги и отдали тело хирурга.

«Предостережение хирурга» было переведено Н. С. Гумилевым в период подготовки им к изданию сборника «Баллады Роберта Саути» в 1922 г. В этот сборник также вошли переводы из Саути, выполненные В. А. Жуковским, А. Н. Плещеевым, Ф. Б. Миллером, В. А. Рождественским, Н. А. Оцупом, Д. Майзельсом и др. Ответ на вопрос, почему Гумилев для перевода выбрал из всех баллад Саути именно эту, возможно, кроется в его авторской статье-предисловии к сборнику «Баллады Роберта Саути»: «Саути больше всего обратил внимание на правду историческую и бытовую. <...> Он охотно выбирал темами своих поэм и стихотворений отдаленные эпохи и чужие ему страны, причем стремился передавать характерные для них чувства, мысли и мелочи быта, сам становясь на точку зрения своих героев. Для этого он пользовался всем богатством народной поэзии и первый ввел в литературу ее мудрую простоту, разнообразие размеров и могучий поэтический прием повторений. Однако именно это и послужило причиной его непризнания, потому что девятнадцатый век интересовался прежде всего личностью поэта и не умел увидеть за великолепием образов их творца. Для нас стихотворения Саути – это целый мир творческой фантазии, мир предчувствий, страхов, загадок, о которых лирический поэт говорит с тревогой и в которых эпический находит своеобразную логику, только некоторыми частями соприкасающуюся с нашей. Никаких моральных истин, кроме, может быть, самых наивных, взятых как материал, невозможно вывести из этого творчества, но оно бесконечно обогащает мир наших ощущений и, преображая таким образом нашу душу, выполняет назначение истинной поэзии» [4, с. 403]. Размышляя по поводу выбора поэтом для перевода именно этой пародийной баллады Саути, Н. А. Оцуп утверждал, что Гумилев «никогда всерьез не стал бы воспевать некрофильства» [5, с. 184], поскольку сохранял в душе «веру и суеверия,

сближавшие его с людьми средневековья» [6, с. 14]. Более того, «Предостережение хирурга» Саути стало для Гумилева и предостережением в его собственной судьбе. «Молитва мастеров» Гумилева словно перекликается с балладой Саути: «Храни нас, Господи, от тех учеников, // Которые хотят, чтоб наш убогий гений // Кошунственно искал все новых откровений. // Нам может нравиться прямой и честный враг, // Но эти каждый наш выслеживают шаг, // Их радует, что мы в борении, покуда // Петр отрекается и предаст Иуда» [7, с. 221].

Согласно точке зрения Гумилева, «первое, что привлекает внимание читателя и, по всей вероятности, является важнейшим, хотя часто бессознательным, основанием для создания стихотворения, – это мысль или, точнее, образ, потому что поэт мыслит образами» [8, с. 191]. В своем переводе он сохранил все образы (умирающий хирург, ученики-«негодяи», «подлый» Джо, сиделка, доктор, священник, гробовщик, пономарь, трое «сильных молодцов» с «чистой совестью»). Кроме того, русский переводчик оставил все имена и названия, как в оригинале; исключение составляет лишь название улицы, на которой, согласно Саути, покупают патент для гроба, – «St. Martin's Lane» («переулок Святого Мартина»). Гумилев назвал это место «за церковью Преображенья»: «Let the undertaker see it bought of the maker, // Who lives by St. Martin's Lane» [3, p. 306] – «Купите гроб тот в мастерской // За церковью Преображенья» [3, с. 527]. Возможно, эта замена обусловлена необходимостью сохранения рифмы и размера стихотворения.

Гумилев полагал, что «непосредственно за выбором образа перед этим ставится вопрос о его развитии и пропорциях. То и другое определяет выбор числа строк и строфы. В этом переводчик обязан следовать за автором» [8, с. 191, 192]. И хотя поэт был уверен, что «невозможно сокращать или удлинять стихотворение, не меняя в то же время его тона, даже если при этом сохранено количество образов» [8, с. 192], у Саути сорок три строфы, а в выполненном им переводе – сорок две. Переводчик опустил двадцать седьмую строфу баллады: «The Cock he crew cock-a-doodle-doo, // «Past five!» – the watchmen said; // And they went away for while it was day // They might safely leave the dead» [3, p. 310] [Петух прокукарекал, // «Пять!» – сторожа сказали; // И они ушли, ибо, пока был день, // Они могли спокойно оставить умершего]. Приведенная строфа появилась только в последних редакциях баллады Саути; возможно, Гумилев использовал для перевода не последний прижизненный вариант стихотворения. Пропуск строфы мог быть обусловлен и неприятием Гумилевым столь явной у Саути прямой звукоподражательности.

Для английского стиха характерны мужские рифмы, но допустимо и произвольное смешение мужских и женских рифм, что наблюдается в балладе Саути: «The Doctor whisper'd to the Nurse, (M) // And the Surgeon knew what he said; (M) // And he grew pale at the Doctor's tale, (M) // And trembled in his sick-bed (M)» [3, p. 302]; «Now fetch me my brethren and fetch them with speed», (M) // The Surgeon affrighted said; (M) // «The Parson and the Undertaker, (Ж) // Let them hasten, or I shall be dead (M)» [3, p. 302]. Гумилев считал, что рифму стиха необходимо сохранять, но русский силлабо-тонический стих был мало разработан и приходилось прибегать к определенным условностям. Гумилев использовал правильное чередование рифм – мужской и женской, что делало перевод близким русской балладной традиции, однако такая рифма сохранялась не во всем переводе: «Сиделке доктор что-то прошептал, (M) // Слова к

хирургу долетели, (Ж) // Он побледнел при докторских словах (М) // И задрожал в своей постели (Ж)» [3, с. 525]; «За мной придут мои ученики (Ж) // И кость отделят мне от кости; (Ж) // Я, разорявший дома мертвецов, (М) // Не успокоюсь на погосте (Ж)» [3, с. 526].

Гумилев писал, что «для сколько-нибудь серьезного знакомства с поэтом необходимо знать, какие строфы он предпочитал и как ими пользоваться», и поэтому «сохранение строфы является обязанностью переводчика» [8, с. 192]. Для баллад характерна строфа, в которой первый и третий стихи не имеют рифм. Эта особенность строфы сохранена как у Саути, так и у Гумилева: «The Parson and the Undertaker // They hastily came complying // And the Surgeon's Prentices ran up stairs // When they heard that their Master was dying» [3, р. 302] – «Пришел священник, гробовщик пришел, // Чтобы стоять при смертном ложе, // Ученики хирурга им вослед // По лестнице поднялись тоже» [3, с. 525].

Также Гумилев признавал, что в переводах «необходимо соблюдать метры и размер стиха подлинника» [8, с. 190]. Однако, если у Саути употреблен смешанный размер (при преобладании четырех- и трехстопного ямба встречается двустопный и пятистопный ямб, а также четырех-, пяти- и шестистопный хорей), Гумилев предпочел пятистопный ямб в сочетании с четырехстопным ямбом с пиррихием.

Гумилев был убежден, что «в области стиля переводчику следует хорошо усвоить поэтику автора... У каждого поэта есть свой собственный словарь, берясь за перевод, об этом должен помнить переводчик. И все сравнения, метафоры, эпитеты, параллелизмы, повторения, точные указания времени и места и прочие приемы особого, гипнотизирующего воздействия на читателя рекомендуется сохранять, жертвуя для этого менее существенным» [8, с. 193]. В этой связи русский поэт использовал в своем переводе метафоры, присутствующие в оригинале: «he foamed at the mouth with rage he felt» – «от злости пена бьет из губ его», «his eyes grew deadly dim» – «его глаза застыли в муке», «and the struggle of death did loosen every limb» – «смертная борьба ужасно искривила руки», «fingers itch'd» – «зудели пальцы» (при виде денег). Гумилев точен и при переводе эпитетов, использованных Саути: «a sly grin came Josephin» – «вошел с лукавым зубоскальством Джо», «black eyebrow» – «бровь черная», «ghastly eyes» – «сумрачно смотрел», «patent coffin» – «патентованный гроб», «wretched corpse» – «труп недостойный», «conscience was tough» – «совесть их была надежней крепкой стали»; и при переводе сравнений оригинала: «strong as strong can be» – «крепко так запаян... как только можно», «and they did drink, as you may think» – «и пили, как можно больше пили», «and they refused the gold, but not so rudely as before» – «гинеи блеском привлекали взгляд, как новые, они сияли... не так решительно, как в первый раз, но все ж от денег отказались».

Для усиления выразительности речи и придания интонации характера нарастания Саути использовал в балладе поэтический прием повтора. Едва ли не каждый стих английского поэта начинался с повтора служебного слова «and». Это получило адекватное воплощение в переводе, передавало непрерывность повествования, являющуюся обязательным условием баллады: «And bury me in my brother's church, // For that will safer be; // And I implore, lock the church door, // And, pray, take care of the key» [3, р. 306] – «И тело в церкви брата моего // Заройте – так всего надежней, – // И дверь замкните на»

крепко, молю, // И ключ храните осторожней» [3, с. 527]; «And they allow'd the Sexton the shroud, // And they put the coffin back; // And nose and knees they then did squeeze // The Surgeon in a sack» [3, p. 314] – «И саван отдали пономарю, // И гроб зарыли опустелый, // И после, поперек согнув, в мешок // Засунули хирурга тело» [3, с. 532]. Даже графически обращают на себя внимание строки перевода, которые не начинаются соединительным союзом «и». Именно на них Гумилев акцентировал внимание читателя. И в оригинале, и в переводе есть стихи, в которых дважды повторяется одно и то же слово: «And examined it o'er and o'er»; «Strong as strong can be» – «И крепко, крепко был запаян он»; «Now fetch me my brethren, and fetch them with speed».

Более того, без рефрена или повторов полустроф могли утратиться черты балладности, которые Саути хранил особенно ревностно. В его произведении дважды обыгрывались в разных ситуациях наставления хирурга. Английский поэт также использовал фольклорный композиционный прием троекратного повтора, что создавало впечатление нагнетания действия. При этом третий раз, что соответствует жанру, оказывается роковым. Именно в третью ночь сторожа отдали «и порох, и пули» «взамен блестящего металла» и «подлый» Джо забрал тело хирурга. Эмоциональную окраску речи усиливали обращения героя к другим действующим лицам. У Саути их три, и Гумилев их сохраняет: «I beseech ye, my brethren dear!» – «Молю вас, братья дорогие!»; «But, brothers, I took care of you» – «О, братья, постарайтесь для меня»; «My brethren, I entreat» – «О, братья, должен быть замкнутым».

Размышляя над способами адекватной передачи замысла и художественных особенностей оригинала посредством поэтического перевода, Гумилев придавал особое значение проблеме переноса предложения из одной строки в другую: «Классические поэты, как Корнель и Расин, не допускали его, романтики ввели в обиход, модернисты развили до крайних пределов» [8, с. 196]. Такой перенос слов, вызванный несовпадением стихотворной строки с синтаксическим строением фразы, был характерен для романтической поэзии, а потому не вызывает удивления его присутствие и в балладе Саути. Гумилев неизменно следовал за английским автором, подчеркивая порывистость и напряженность поэтической речи: «And see the coffin weigh'd, I beg, // Lest the Plumber should be a cheat» [3, p. 304] – «И взвесьте гроб мой: делавший его // Ведь может оказаться плутом» [3, с. 526]; «Short came his breath and the struggle of death // Did loosen every limb» [3, p. 308] – «Вздох стал коротким; смертная борьба // Ужасно искривила руки» [3, с. 528]; «And should he come there to shoot they swear // A Resurrection Man» [3, p. 308] – «И если кто придет к ним, то они // Гробокопателя застрелят» [3, с. 529]; «For well they knew that it was true // A dead man tells no tales» [3, p. 312] – «Ведь помнили они, что ничего // Не может рассказать покойный» [3, с. 531].

В языке баллады Саути нашли отражение особенности, характерные для поэтического языка конца XVIII – первой трети XIX в.: пропуск слога ради соблюдения размера или из стилистических соображений ('Twas = it was; o'er = over); использование архаической местоименной парадигмы 2 л. ед. ч. (ye = you) для передачи атмосферы давно ушедших лет; устаревшие слова (brethren, zounds, Prentices). Признавая, что «славянизмы или архаизмы допустимы, и то с большой осторожностью, лишь при переводе старых поэтов, до «Озерной школы» и романтизма» [8, с. 194], Гумилев в русском переводе старался полностью следовать особенностям английского подлинника.

Для баллады Саути характерны подчеркнутая повествовательность и очевидная статичность. Английский поэт использовал в основном неглагольные части речи: имена существительные, имена прилагательные, местоимения (существительных – 225, местоимений – 181, прилагательных – 60, глаголов – 210). Используемые глаголы стоят главным образом в имперфектной форме (the Past Indefinite Tense) действительного залога (Past Indefinite – 111, Present Indefinite – 39, Future Indefinite – 6, Present Perfect – 5) [9, с. 106–112]. Настоящее время, делающее повествование более эмоциональным, реальным, использовано Саути только в сцене, когда хирург выражает свою предсмертную волю. Гумилев и здесь в точности следовал за английским поэтом.

Для усиления выразительности речи Саути использовал эмфатическую инверсию (предложения, начинающиеся словом «so»): «So, pray, take care of me!» [3, p. 304], «So the Undertaker saw it bought of the maker» [3, p. 308] – «Ведь этот гроб был куплен в мастерской» [3, с. 528] (здесь Гумилев употребил частицу «ведь», которая наряду с частицами «уже» и «лишь», по его мнению, обладала «могучей выразительностью» и удваивала «силу глагола-сказуемого» [8, с. 194]); «So all night long by the vestry fire» [3, p. 310].

Идеальных переводов, соединяющих теорию поэтики и поэтическую психологию, не бывает. Но перевод Гумилева очень близок оригиналу за счет мастерского владения формой стиха и сотворческого прочтения поэтических образов. Автор стремился «соблюдать число строк, метр и размер, характер enjambment, характер рифм, характер словаря, тип сравнений, особые приемы, переходы тона. Таковы девять заповедей переводчика <...> на одну меньше, чем Моисеевых» [8, с. 196]. В 1911 г. В. Я. Брюсов, раздумывая о новом поколении русских поэтов, назвал Гумилева «поэтом зрительных картин, может быть не всегда умеющим сказать новое и неожиданное, но всегда умеющим избежать в своих стихах недостатков» [10, с. 148]. Кроме «Предостережения хирурга» Р. Саути, Гумилев перевел также «Сказание о Старом Мореходе» С. Т. Кольриджа, по его мнению, «самого яркого представителя «Озерной школы» [4, с. 403].

Обращался Гумилев и к творчеству В. Вордсворта, которого он считал «самым глубоким представителем «Озерной школы» [4, с. 403]. В Собрании В. А. Десницкого [11] хранится подборка автографов Гумилева с пояснительной запиской Н. А. Энгельгардта: «Рукописи покойного поэта Николая Степановича Гумилева, мне им лично подаренные 5-го октября 1919 года (на 18-ти листах). Ник. А. Энгельгардт». Автографы сгруппированы Энгельгардтом по трем разделам, раздел «В» озаглавлен «Мои переводы из Уодсворта с поправками Н. С. Гумилева» [12, с. 390]. В этом разделе представлены машинописные тексты стихотворных переводов Энгельгардта из Вордсворта с рукописной правкой Гумилева. Стихи Вордсворта «Радуга» («The Rainbow», 1803) и «Характеристика трехлетнего ребенка» («Characteristics of a Child Three Years Old», 1811) были заново переведены Гумилевым с частичным использованием текста переводов Энгельгардта (выполненный Энгельгардтом перевод первого стихотворения был зачеркнут Гумилевым, а второго – частично исправлен, частично зачеркнут).

В стихотворение Вордсворта «Радуга», показывавшее неизменность красоты природы, несмотря на смену поколений человечества, Гумилев внес несколько небольших изменений. Он указал, что поэт был взволнован радугой не просто в небе, а радугой среди ветвей, да еще поутру: «My heart leaps

up when I behold // A rainbow in the sky» [13, p. 607] – «Я радугой среди ветвей // Взволнован поутру» [12, с. 396]. В последующих стихах Гумилев сохранил анафору, но вместо придаточных предложений использовал существительные с эпитетами («детство золотое», «возраст мужской», «старость моя»): «So was it when my life began; // So is it now I am a man; // So be it when I shall grow old, // Or let me die!» [13, p. 607] – «Так было в детстве золотом, // Так – ныне в возрасте мужском, // Так будет в старости моей // Или когда умру!» [12, с. 396].

Стихотворение «Характеристика трехлетнего ребенка» (1811) было написано Вордсвортом в Аланбенке, Грасмире (Allanbank, Grasmere). В нем содержится описание дочери поэта Катерины (Catharine), умершей год спустя. В своем переводе Гумилев несколько сократил строки «And Innocence hath privilege in her // To dignity arch looks and laughing eyes» [14, p. 637], опустив выражение «arch looks» («лукавый взгляд») – «Невинность преимущество имеет // Ее веселые украсит глазки» [11, с. 396]. Фраза «And feats of cunning; and the pretty round // Of trespasses, affected to provoke // Mock-chastisement and partnership in play» [14, p. 637] [Хитрые проделки; милые // Шалости, специально, чтобы вызвать // Ненастоящее наказание и участие в игре] интерпретирована Гумилевым немного иначе: «Хитрые проделки; шалостью прелестной // Она как будто ищет вызвать легкий // Упрек или зовет возиться с нею» [12, с. 397]. Вместо фраз «happy Creature of herself» («счастливое Созданье»), «with gladness and involuntary songs» («радостью и непроизвольными песнями»), «meadow-flowers» («луговые цветы») Гумилев использовал «Созданье милое собою», «невольным и таким веселым пеньем», «цветочным лугом», что в принципе не меняло сути авторского замысла.

Выполненные Н. С. Гумилевым переводы из В. Вордсворта не предназначались для публикации, и потому тем более поразительна их точность, умение русского переводчика четко передать смысл и настроение оригинальных произведений.

#### *Список литературы*

1. **Витковский, Е.** «Не иначе, здесь дьявол замешан!» Роберт Саути – мастер карнавала и гиньоля / Е. Витковский // Баллады : сборник / Р. Саути ; сост. Е. Витковский ; [на англ. языке с параллельным рус. текстом]. – М. : Радуга, 2006. – С. 521–546.
2. **Southey, R.** Poetical Works / R. Southey. – N. Y. : Penguin Books, 1987. – 630 p.
3. Саути, Р. Баллады : сборник / Р. Саути ; сост. Е. Витковский ; [на англ. языке с параллельным рус. текстом]. – М. : Радуга, 2006. – 714 с.
4. **Гумилев, Н. С.** Баллады Роберта Саути / Н. С. Гумилев // Собрание сочинений : в 4 т. – М. : Правда, 1991. – Т. 4. – С. 402–405.
5. **Оцуп, Н. А.** Н. С. Гумилев / Н. А. Оцуп // Николай Гумилев в воспоминаниях современников / ред.-сост., автор предисловия и комментариев В. Крейд. – М. : Худ. литература, 1990. – С. 171–193.
6. **Оцуп, Н. А.** Николай Гумилев. Жизнь и творчество / Н. А. Оцуп. – СПб. : Голос, 1995. – 224 с.
7. «Закрыт нам путь проверенных орбит...». М. Волошин, Н. Гумилев, О. Мандельштам / сост. С. М. Пинаев. – М. : Современник, 1990. – 376 с.
8. **Гумилев, Н. С.** О стихотворных переводах / Н. С. Гумилев // Собрание сочинений : в 4 т. – М. : Правда, 1991. – Т. 4. – С. 191–199.
9. **Подольская, Г. Г.** Баллады Роберта Саути в контексте русской литературы XIX – первой четверти XX в. / Г. Г. Подольская. – Астрахань : Изд-во Астраханского гос. пед. ун-та, 1998. – 296 с.



10. Пинаев, С. «Древних ратей воин отсталый...» (жизненный путь и художественный мир Н. Гумилева) // «Закрыт нам путь проверенных орбит...». М. Волошин, Н. Гумилев, О. Мандельштам / сост. С. М. Пинаев. – М. : Современник, 1990. – С. 145–158.
11. ИРЛИ. Ф. 411. Ед. хр. 38.
12. Николай Гумилев. Исследования. Материалы. Библиография / под ред. А. В. Лаврова. – СПб. : Наука, 1994. – 448 с.
13. The Oxford Book of English Verse / ed. David V. Pirie. – Oxford : Oxford University Press Edition, 1990. – 836 p.
14. Wordsworth, W. The Complete Poetical Works / W. Wordsworth. – London : Granada publishing, 1896. – 756 p.

## **АССОЦИАТИВНАЯ ОСНОВА ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЭФФЕКТИВНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ**

В статье рассматривается ассоциативная основа товарных знаков (прагматимов), оказывающих психологическое воздействие на получателя информации; методики и технологии, с помощью которых достигается главная задача коммуникации между производителем товара и его непосредственным покупателем.

Известно, что главной функцией любого торгового знака является именование или указание на определенный объект – товар, но, кроме того, в анализе его функционирования выявляются дополнительные значения, в первую очередь связанные с эмоциональной окрашенностью названия. К. Д. Веркман пишет: «Каждый товарный знак затрагивает положение покупателя в структуре общества – другими словами, он может дать ему дополнительное удовлетворение или ввергнуть в состояние тревожного одиночества как человека, потерявшего ориентиры» [1, с. 41]. Закон экспрессивности, выразительности рекламы имеет непосредственное отношение к функционированию торговых знаков в качестве средств, способных привлечь особое внимание, запомниться, вызвать удивление, заставить о чем-либо вспомнить.

Товарные знаки можно рассматривать как один из источников передачи информации в торговле и как один из компонентов рыночных операций. В этой своей роли товарный знак, конечно, должен информировать (о качестве товара, его гарантии), но, прежде всего, с позиции владельца товара товарный знак должен побуждать к покупке, т.к. именно в этом состоит его основная прагматическая функция, его главное назначение. Чтобы выполнить это предназначение, создатель товарного знака стремится найти способ привлечь, а потом «соблазнить» и завоевать потенциального покупателя. Поиск эффективных средств и способов воздействия в коммерческой среде продолжался на протяжении долгого времени и привел к современному состоянию, когда в распоряжении создателей торговых знаков появились средства многообразного психологического воздействия, объектом которого является практически каждый человек. С помощью товарных знаков реализуется стремление продавцов товара побудить человека совершить покупку. Реклама представляет потенциальному покупателю его собственный образ в том виде, который наиболее отвечает его чаяниям и ожиданиям. Эти последние являются функцией социокультурной среды и потому определяют поведение людей; на них в первую очередь и должен быть ориентирован товарный знак.

Специалисты по созданию товарных знаков должны помнить, что цель создания словесных товарных знаков – воздействие, оказываемое с тем, чтобы способствовать скорейшему сбыту маркируемого товара, а для этого необходимо привлечь на свою сторону определенную группу покупателей. Создание словесных товарных знаков – дело очень непростое. Прежде чем обращаться к словесным обозначениям товара, анализируется сам товар и его возможное применение. При этом принимаются во внимание все возрастные и социальные группы, которые могут стать потенциальными потребителями товара. Выявляются свойства данного товара, полезные для покупателей.

На основе анализа вкусов, психологии, настроений, мировоззрений потенциальных покупателей выделяется серия аргументов, склоняющих ту или иную группу покупателей к покупке, например прочность товара, доступная цена или, наоборот, престижность товара, его новизна, модность, броскость. После того, как установлены аргументы покупки, для каждой разновидности товара, относящегося к определенному аргументу, подбираются мотивы выбора товарного знака с учетом психологии данной категории покупателей.

Все названия товаров мы можем распределить на несколько подгрупп:

– общеупотребительные названия (не подлежат юридической защите): *AIR – SHUTTLE, SUPER-GLUE*;

– обычные описательные названия (не подлежат юридической защите): *LITE* (низкокалорийное пиво), *CONSUMER ELECTRONICS* (бытовая техника), *COMMENTATOR* (журнал), *SAFARI* (оборудование);

– умеренно описательные названия (подлежат защите только в том случае, если фирма уже обладает известной репутацией): *COMPUTERLAND* (магазин по продаже компьютеров), *TELEMED* (центр компьютерного анализа электрокардиограмм по телефону), *VISION CENTER* (оптометрический центр);

– высокоассоциативные названия (подлежат защите): *CITIBANK* (банковские услуги), *OLD HEARTH* (пекарня), *UNDERNEATH IT ALL* (женское белье, переводится как «а что внизу»), *ULTRASUEDE* (ткань, имитирующая велюр (от слова «ультравелюр»));

– ассоциативные названия: *OILEX* (смазочные материалы); *VISA* (финансовые услуги), *REJUVIA* (средство по уходу за кожей);

– причудливые товарные знаки (подлежат защите): *JELLIBEANS* (детский каток), *KODAK* (фототовары);

– товарные знаки, не вызывающие определенных ассоциаций.

Самый простой и эффективный способ передать какую-либо мысль, не прибегая к прямому описанию, – это использование слова-символа. Символизм – это выражение абстрактной концепции при помощи замены ее каким-либо конкретным или осязаемым объектом. Чаще всего используются символы животных. Они были символами в средневековой геральдике и остаются любимыми компонентами современных товарных знаков. Изображение льва на логотипе киностудии *METRO GOLDWYN MAYER* выражает силу и превосходство.

Когда происходит маркировка нового товара, имеет место не только указание на объект. Название товара зачастую реализует еще и дополнительное созначение, вызывающее различные ассоциации, благодаря которым товар приобретает особую привлекательность. Товарный знак, как было отмечено выше, не столько дает характеристику свойств товара, сколько стремится путем заложенного в нем эмоционального созначения убедить покупателя приобрести данный товар.

Поэтому столь большое внимание уделяется созданию условий для возникновения у потенциального покупателя в процессе коммуникативного взаимодействия «*товарный знак – реципиент*» положительных ассоциаций. Как правило, товарные знаки не просто информируют о возможных достоинствах, но и пытаются внушить покупателю веру в исключительные качества предлагаемого товара. Способность товарных знаков вызывать положительные эмоции и ассоциироваться с известными, положительно оцениваемыми понятиями связана с особой семантической структурой значения товарного

знака. Она может быть рассмотрена в связи с действием принципа двуязычной семантики. Этот принцип проявляется, в частности, в использовании в качестве товарных знаков слов с широким диапазоном возможных коннотативных значений. Часто авторы товарных знаков используют исторические ассоциации: *BENJAMIN FRANCLIN POSTAL CENTER*, *CAESARS PALACE*, *CARDINAL*, *MARLBORO*, *NAPOLEON*, *ORACLE*. Часто можно встретить и географические наименования: *FINLANDIA*, *FUJI*, *HITACHI*, *MALIBU*, *RIO GRANDE*, *SEVEN SEAS LODGE*, *ACAPULCO POOLS* и т.п.

Некоторые товарные знаки не информируют о высоком качестве товара эксплицитно, а лишь предоставляют потенциальным покупателям возможность предположить, каково качество данного товара. Например, *ALL* (весь, все) – название популярного моющего порошка. Это название предполагает «завершение, окончание». При приобретении этого товара покупатель задается вопросами: «Очищает ли он ВСЮ грязь? Очищает ли грязь везде? Он называется *ALL*, потому что используется для ВСЕХ видов стиральных машин или ВСЕХ видов тканей? Может он используется ПОВСЮДУ: для мытья посуды, одежды, стен и полов, а может быть, он выполняет ВСЮ работу, предоставляя хозяйке возможность отдохнуть?»

Можно привести ряд подобных примеров: название *COMET* (чистящее средство) предполагает быстроту в получении результата; *TASTY* (сдобные булочки) намекает вам на необычайный вкус; *FRIEND* (детские краски для рисования) говорит о том, что этот товар станет настоящим «другом» не только вашему ребенку, но и вам самим, т.к. вы «по-дружески» проведете время отдыха; плавательный бассейн *FLORIDA* позволит вам ощутить себя на лазурных, лучезарных пляжах морского побережья; *LOGOS* (научная аппаратура) никогда не подведет вас в расчетах; *KOMPASS* (фирма по трудоустройству) работает во всех направлениях; *FISHER* (магазин «хобби, увлечений») намекает на то, что, как только вы войдете в магазин, вы непременно «попадаетесь» на удочку качественных, недорогих и интересных товаров.

Подобным образом создан и товарный знак моющего средства *DUZ*, ассоциируемый со словом *does* (с некоторыми орфографическими изменениями). Он предполагает «активность, деятельность», поэтому будущие покупатели могут свободно предположить, каково назначение этого товара. Товарный знак *SWANDOWN* подразумевает «мягкость»; *VESKILOOS* вызывает ассоциации не только с холодом Арктики, но и с уютом и защищенностью жилища эскимосов – иглу (*igloo*). *FLORIENT* – (*orient* – восток, восточный) ассоциируется с чем-то пикантным. Когда покупатели видят такие торговые знаки, как *EASY – ON*, *EASY – OFF*, *EASY*, *LESTOIL*, *ONE WIPE*, *BANCARE*, они полностью убеждены, что при их использовании они затратят минимум усердий. Ассоциации с быстрым выполнением, завершением, быстрым потреблением чего-либо возникают в связи с торговыми знаками: *QUICKLIGHT*, *QUICK-X*, *QUICK-START*, *QWIK-FLO*, *SPEED-FEED*, *SPEEDRY*, *SPEEDWRITING*, *JET-COOL*, *INSTANT SEW*, *INSTANT SPARE*.

Центральное место среди ассоциативных значений товарных знаков занимают те, которые рекламируют высокое качество предмета. Естественной функцией любого торгового знака является указание на определенный объект (товар) но, кроме того, во многих торговых знаках выявляются дополнительные значения, связанные в первую очередь с эмоциональной окрашенностью названия.

К товарным знакам (словам, способным привлечь особое внимание, запомниться, вызвать удивление и соблазн) имеет непосредственное отношение закон экспрессивности, выразительности рекламы. Упоминание товарного знака *MUSTANG* вызывает в памяти образ сильного, быстрого, ретивого, вольного, красивого мустанга. В названии *MANPOWER* (рабочая сила) содержится метонимическое объявление об услугах, предоставляемых агентством социальной помощи, которое сделает все возможное, чтобы помочь клиенту. Механизм воздействия названия товарного знака можно охарактеризовать двумя словами – впечатление и смысл. Впечатление, которое производит название товара на потенциального потребителя, в психологии называется *энграммой* [2, с. 514, 515]. Под этим термином подразумевается влияние, которое товарный знак оказывает на человека, впервые слышащего или читающего название товара. Созданию энграммы способствует, в частности, использование в качестве товарного знака слов с широким диапазоном возможных коннотативных значений. При отборе лексического материала для создания товарных знаков основной упор делается на слова с мелиоративными оттенками значений; слова, обозначающие предметы, к которым отношение у большинства покупателей, как правило, положительное. Так, слово *gold* («золото») встречается более чем в 3000 английских товарных знаках, *star* («звезда»), *sun* («солнце»), *imperial* («императорский, царственный») – почти в 1000 названиях каждое. Большой популярностью пользуется элемент *-ex* (возможная связь с *excellent* – «отличный»): *MALTEX*, *KLEENEX*, *AR-EX*, *CHEMEX*, *LETTADEX*. Одно из прагматически обусловленных требований, соблюдаемых при создании названий, ассоциирующихся с различными внеязыковыми и языковыми феноменами, – это требование иносказательно именовать товар, не называя его прямо, что делает мотивировку и информативность многих товарных знаков весьма специфической. Содержащаяся в имени информация должна носить не столько интеллектуальный, сколько эмоциональный характер: она должна обеспечить эмоционально-экспрессивную окраску, хорошую выделяемость товарного знака в тексте. Многие товарные знаки предполагают не одну, а несколько различных ассоциаций, что способствует их более полному вхождению в язык и обретению связей с его различными ярусами. Ассоциации, вызванные словесными торговыми знаками, могут быть различными в зависимости от языкового материала, от структуры, от условий.

Ассоциативную основу многих торговых знаков наряду с другими специфическими средствами составляют шарады, каламбуры. Рекламисты преобразуют естественные лексические единицы в соответствии со своими задачами. Для них важно вызвать психологический эффект, а для этого необходимо сохранить ассоциативный компонент. Например: *AIR-MALE* – тонкая, воздушная ткань, используемая для пошива мужской одежды, *MALE POUCH* (*pouch* – мешок) – мужские трусы, *TURKISH DELIGHT* (восточные сладости) – халат из тонкой ткани. Несмотря на отсутствие у некоторых товарных знаков очевидного значения, было бы ошибочно считать, что они «сделаны из ничего», исключительно по воле фантазии их создателя. Рекламисты всегда стремятся к тому, чтобы слово что-нибудь означало. С собственно языковой точки зрения товарные знаки почти всегда мотивированы ассоциациями с другими словами, подобными им по форме или имеющими аналогичное им содержание.

Устойчивость ассоциаций, вызываемых определенными товарными знаками, предопределяется преемственностью в названиях товаров при смене их словесных обозначений, что обусловлено стремлением фирмы к облегчению распознавания для потребителя рекламируемых товаров. Встречаются такие товарные знаки, которые не вызывают никаких ассоциаций. Большинство из них нужно рассматривать с этимологической точки зрения.

Применение научной терминологии можно наблюдать на примерах слов греческого и латинского происхождения. Чаще всего эти названия или состоят либо из греческих/латинских корней, суффиксов или приставок (*PAXIS, MODULUS*), или сами являются научными терминами (*METHOCARBAMOL, ERYTHROMYCIN*).

Этимология слова может быть исторической (естественной), когда термин образуется в результате эволюции в процессе продолжительного использования многими поколениями, или искусственной, если ученые составили или позаимствовали слово от родительской идиомы, чтобы назвать какое-либо новое устройство или вновь открытое явление. Например, название *SALAT* произошло от латинского слова *sal (salt)*, от которого образовалось *salata (salted)*, затем «*t*» поменялось на «*d*» и присоединило французское окончание *-e*. Во время завоевания Великобритании нормандцами это слово пришло в Англию, где приняло форму *salad*.

Латинский язык имеет корни древних этрусского и праиндоевропейского языков. Он также позаимствовал много слов из греческого языка. Через латынь в английский язык пришли и греческие слова. *kubernein* (вести корабль, править) стало латинским словом *gubernare*, а *gouverner* – французским, от которого затем образовался английский глагол *to govern* – править. Искусственно созданные слова зачастую формируются на основе греческих корней. Слово *cybernetics* (кибернетика – наука о сложных электрических машинах) произошло от греческого *kubernain*. Существует разница в уровне доступности слов *to govern* и *cybernetics* для различных групп людей в зависимости уровня их образования. Слово *to govern* понимает больше людей, чем термин *cybernetics*. В настоящее время греческий язык – не менее распространенный источник создания многочисленных терминов: *photography, cinematography, radiography, kinetics, statistics, gram, liter, ion, neutron, cyclotron*. Данный источник подходит и для создания коммерческих названий. Большинство приставок и суффиксов помогают создавать эффективные товарные знаки. Например, *bio-* (жизнь) – *BIOPRODUCT, BIOLUX*; *tele-* (отдаленный) – *TELEPHONE, TELEMEDIA, TELELIFE*; *auto-* (сам) – *AUTOMAT, AUTOTYPE* и др. Среди названий товарных знаков также можно найти непонятные слова-головоломки, например: *HYBRINETICS, INDUCTOSYN, TELOPHASE, XYTRONYX, CHLORTIMETON*. Эти слова можно назвать «герметичными», т.к. их значение глубоко скрыто от нашего понимания.

Исследователи товарных знаков не зря обращаются к их этимологии. Рассмотрим товарные знаки, для создания которых обращаются к греческим и латинским словам. Целью является создание псевдонаучного названия своего товара. Разобрать смысл таких слов и помогает этимологический анализ. Для его выполнения вначале анализируемое слово делится на наименьшие смысловоразличительные фрагменты (*морфемы*). Слово *computing* (англ. «вычисление») состоит из приставки *com-*, происшедшей от латинского *cum* (лат. «вместе»), корня *put-* (от лат. *putare* – думать) и окончания существи-

тельного *-ing*. Слово *cap* состоит только из корня от латинского слова *capra* (лат. «капюшон»), а слово *caps* (англ. «заглавные буквы»), кроме корня, имеет окончание множественного числа *-s*. Напротив, для создания новых названий не представляют большого интереса окончания *-ing* или *-s*, которые, как правило, выполняют только морфологическую функцию, указывая в одном случае на продолжающееся действие, а в другом – на множественное число. Другие компоненты играют более важную роль: они несут определенную информацию или смысловую нагрузку.

При создании названия торговой марки *SCENFOLI* эффект достигался за счет сочетания мягкого звучания первой семанты *scen* (англ. «запах»), ласкающего слух звучания второй семанты *foli* (англ. «листва») и ассоциаций с ароматами, поддерживаемых каждым из компонентов. Это название к тому же обладает звукоподражательным эффектом: его звучание напоминает шелест ветерка в листве. Акцент на первом слоге и мягкое окончание образуют гармоничную модуляцию.

Итак, чаще всего создавать новые товарные знаки позволяют имеющиеся в языке способы и средства словообразования. Они же дают нам возможность достичь нужных психологических эффектов, а именно придать названию аттрактивность, ассоциативность, эмоциональность, целью которых является завоевание доверия покупателя.

#### *Список литературы*

1. **Веркман, К. Д.** Товарные знаки: создание, психология восприятия / К. Д. Веркман. – М., 1986. – 518 с.
2. Большой толковый психологический словарь / под ред. О. Р. Арнольд. – М., 2001. – Т. 1. – 600 с. ; Т. 2. – 559 с.

## АННОТАЦИИ

### История

УДК 329.5(47+57)«1905/1910»

**РОССИЙСКИЕ АНАРХИСТЫ В 1905–1910 гг.:**

**«ПРАКТИКУМ» ПО ЛИБЕРТАРИЗМУ.** Сапон В. П. –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.

Общественные науки, 2007, № 4, с. 2–7.

В процессе борьбы с самодержавным государством за идеалы социальной справедливости и подлинного народного самоуправления российские анархисты стремились не только к разрушению существующего эксплуататорского общества, но и к созиданию прогрессивной общественной альтернативы. Автор статьи поставил своей целью осветить именно конструктивные усилия отечественных антигосударственников по осуществлению принципов либертарного социализма, предпринятые в 1905–1910 гг.

УДК 342.537(470)«19»+94(47).83

**ЛИБЕРАЛЬНОЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ  
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО: ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ  
СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ.** Аронов Д. В. –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.

Общественные науки, 2007, № 4, с. 8–12.

В статье предпринята попытка формализации института либерального законодательства думского периода в виде ряда структурно-логических схем. В них на основании комплексного анализа массива либерального законодательства представлена система выявленных структурно-логических взаимосвязей.

УДК 940.3

**ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ В. Ф. ДЖУНКОВСКИЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ  
АРМИИ 1917 г.: ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ.** Дунаева А. Ю. –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.

Общественные науки, 2007, № 4, с. 13–22.

Статья посвящена мало изученному периоду жизни Владимира Федоровича Джунковского (1865–1938) – известного государственного деятеля России начала XX в. На материалах личного фонда рассматривается поведение генерал-лейтенанта В. Ф. Джунковского, находившегося в действующей армии на Западном фронте, в экстремальной ситуации Февральской и Октябрьской революций 1917 г.

УДК 1(091)

**К. Н. ЛЕОНТЬЕВ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ.**

Емельянов-Лукияничков М. А. –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.

Общественные науки, 2007, № 4, с. 23–30.



В статье впервые в отечественной историографии дается развернутая характеристика взглядов К. Н. Леонтьева на национальный вопрос. Отмечается, что рефлексия этой темы проводилась мыслителем посредством применения цивилизационного подхода, обращения к традиционной русской духовности и соборности мироощущения. Для Леонтьева национальная политика настолько позитивна, насколько рассматривается в контексте религии, культуры и государственности, и, наоборот, естественно всякого рода заикливание на идее крови, рассматриваемой вне идеалов русской или любой другой цивилизации.

УДК 324:342.53(47)

**ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ: ИСТОРИКО-КОММУНИКАТИВНЫЙ АНАЛИЗ.** *Лунатова О. В.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки, 2007, № 4, с. 31–40.

В статье предложен анализ российского опыта взаимодействия государственного управления и местного самоуправления на основе историко-коммуникативного подхода. Автор обосновывает необходимость в рефлексивной парадигме государственной власти.

## Ф и л о с о ф и я

УДК 300.311

**ПАРАДИГМА МОДЕРНИЗАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ.** *Любимцев К. В.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки, 2007, № 4, с. 41–49.

В предлагаемой статье проводится анализ эволюции модернизационной парадигмы в социальных науках и прослеживается трансформация теоретических оснований классических и неклассических концепций модернизации. Отмечается, что современным подходам присущ отказ от рассмотрения проблематики общественного развития в русле проективного мышления, в масштабе универсальных моделей. Для них характерен переход от анализа трансформаций социальных институтов к исследованию неформальных микроуровневых процессов сквозь призму ценностных и когнитивных изменений модернизирующегося общества.

УДК 300.37

**ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ (НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ).** *Петренко Н. С.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки, 2007, № 4, с. 50–58.

В статье рассматривается круг вопросов, относящихся к области индивидуальной модернизации, трансформирующей образ человека, его социально-психологические установки и ценности в сторону приближения к образу «модернити». Дан частичный сопоставительный анализ требований со стороны общества к трансфор-

мирующей личности в двух несовпадающих парадигмах: в рамках протяженной во времени социально-экономической и культурной модернизационной стратегии, с одной стороны, и в случае ситуационного реагирования на множество разнонаправленных вызовов современности в условиях динамично меняющегося общества, с другой стороны. Показано различие некоторых определяющих личностных характеристик, доминантных черт и компенсационных психологических механизмов, задействованных в этих двух парадигмах.

УДК 17.022.1(470)(091)

**В. С. СОЛОВЬЕВ: ЭКОНОМИКА С ПОЗИЦИЙ  
ФИЛОСОФИИ МОРАЛИ.** *Ульшина Е. Н.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 59–65.

В статье рассматриваются проблемы, связанные с ролью и значением нравственности в предпринимательстве, затронутые в этике В. С. Соловьева. Центральной идеей Соловьева при анализе экономической жизни является признание ее особым, своеобразным поприщем для единого (точнее, триединого) нравственного закона. Подобное признание абсолютного превосходства духовного начала над материальным позволяет Соловьеву сделать целый ряд выводов, сохраняющих исключительное важное значение и для организации хозяйственной жизни в современной России.

УДК 1:316.7

**СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК  
И ЕГО ЛЕГИТИМНОСТЬ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  
И ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНЫЕ РЕАЛИИ.** *Козлов С. В.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 66–73.

В статье рассматриваются власть и социальный порядок в контексте их социокультурной и ценностно-нормативной обоснованности. Акцентируется, что основания легитимности социального порядка непосредственно связаны с рамочными условиями, ценностями, нормами, задающими базовые параметры взаимодействия и коммуникации социальных акторов и через это организующими и определяющими саму возможность (и способ) воспроизводства единого социального пространства.

## **Ф и л о л о г и я**

УДК 820

**ТВОРЧЕСТВО ПОЭТОВ «ОЗЕРНОЙ ШКОЛЫ» В ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
Н. С. ГУМИЛЕВА.** *Жаткин Д. Н., Рябова А. А.* –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 74–81.

В статье проведен филологический анализ осуществленного Н. С. Гумилевым перевода баллады Р. Саути «Предостережение хирурга» («The Surgeon's Warning», 1798), рассмотрена специфика восприятия русским поэтом особенностей формы и содержания английского подлинника. Особый интерес представляет анализ материалов, связанных с деятельностью Н. С. Гумилева как переводчика баллад

В. Вордсворта. Проанализированы сохранившиеся в собрании В. А. Десницкого в ИРЛИ машинописные тексты переводов стихов В. Вордсворта «Радуга» («The Rainbow», 1803) и «Характеристика трехлетнего ребенка» («Characteristics of a Child Three Years Old», 1811), осуществленных Н. А. Энгельгардтом, но кардинально исправленных Н. С. Гумилевым.

УДК 802.0-33

**АССОЦИАТИВНАЯ ОСНОВА ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ  
ЭФФЕКТИВНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ.** Стадильская Н. А. –

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.

Общественные науки, 2007, № 4, с. 82–87.

В статье рассматривается ассоциативная основа товарных знаков (прагматиков), оказывающих психологическое воздействие на получателя информации; методики и технологии, с помощью которых достигается главная задача коммуникации между производителем товара и его непосредственным покупателем.

## СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

**Аронов Дмитрий Владимирович** – доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой философии и истории Орловского государственного технического университета.

**Дунаева Анастасия Юрьевна** – аспирантка кафедры истории России нового времени Российского государственного гуманитарного университета.

**Емельянов-Лукьянчиков Максим Александрович** – кандидат исторических наук, научный сотрудник Научно-исследовательского института столичного образования Московского городского педагогического университета.

**Жаткин Дмитрий Николаевич** – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского и иностранных языков Пензенской государственной технологической академии, академик Международной академии наук педагогического образования, член Союза писателей России, член Союза журналистов России.

**Козлов Сергей Валентинович** – старший преподаватель кафедры философии Тверского государственного университета.

**Липатова Ольга Владимировна** – кандидат исторических наук, доцент кафедры информационной политики Академии государственной службы при Президенте РФ.

**Любимцев Константин Владимирович** – аспирант сектора социальной философии Московского государственного университета гуманитарных наук.

**Петренко Наталия Сергеевна** – научный сотрудник Института философии Российской академии наук.

**Рябова Анна Анатольевна** – преподаватель кафедры русского и иностранных языков Пензенской государственной технологической академии.

**Сапон Владимир Петрович** – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории политических партий и общественных движений Нижегородского государственного университета им. Н. В. Лобачевского.

**Стадульская Наталья Александровна** – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики перевода Пятигорского государственного лингвистического университета.

**Ульшина Евгения Николаевна** – аспирантка кафедры философии Воронежской государственной лесотехнической академии.

### ***Внимание авторов!***

Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах оригинальные статьи, содержащие новые научные результаты в области истории, философии, филологии, педагогики, а также обзорные статьи по тематике журнала.

Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других журналах, редколлегией не рассматриваются.

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использованием текстового редактора Microsoft Word for Windows версий 97 или выше. Необходимо представить статью в электронном виде (дискета 3,5'', CD-диск) и дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах с указанием даты написания и личной подписью автора, заверенной в установленном порядке.

Оптимальный объем рукописи 10–14 страниц формата А4. Статья должна сопровождаться краткой аннотацией и индексом УДК. Основные разделы статьи, кроме введения и заключения, следует пронумеровать. Основной шрифт статьи – Times New Roman, 14 pt через полуторный интервал. Тип файла в электронном виде – RTF. Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и предоставлены в виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, BMP с разрешением 600 dpi, векторные рисунки в формате Corel DRAW с минимальной толщиной линии 0,75 pt). Рисунки должны сопровождаться подрисовочными надписями. Формулы в тексте статьи выполняются в редакторе формул Microsoft Word Equation, версия 3.0 и ниже. Допускается вставка в текст специальных символов (с использованием шрифтов Symbol).

В библиографическом списке нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок на них в тексте. Номер источника указывается в квадратных скобках. В списке указывается:

- для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, год издания, том, количество страниц;
- для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название журнала, серия, год, том, номер, выпуск, страницы;
- для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название статьи, название издания, время и место проведения конференции, город, издательство, год, страницы.

В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках которой выполнена работа, или наименования фонда поддержки.

К материалам статьи прилагается информация для заполнения учетного листа автора: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, ученое звание, адрес, телефон, e-mail.

Рукопись, полученная редакцией, не возвращается.

Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с автором.

### ***Уважаемые читатели!***

Для гарантированного и своевременного получения журнала «**Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки**» рекомендуем вам оформить подписку.

Журнал выходит 4 раза в год по тематике:

- ***история***
- ***философия***
- ***филология***
- ***педагогика***

Стоимость одного номера журнала – 250 руб. 00 коп.

Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить заявку в редакцию журнала: факс (841-2) 56-34-96, тел.: 36-82-06, 56-47-33; E-mail: VolgaVuz@mail.ru

Подписку на второе полугодие 2008 г. можно также оформить по каталогу агентства «РОСПЕЧАТЬ» «Газеты. Журналы», тематический раздел «Известия высших учебных заведений». Подписной индекс – 36949.

-----

### **ЗАЯВКА**

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки» на 2008 г.

№ 1 – \_\_\_\_\_ шт., № 2 – \_\_\_\_\_ шт., № 3 – \_\_\_\_\_ шт., № 4 – \_\_\_\_\_ шт.

Наименование организации (полное) \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

Почтовый индекс \_\_\_\_\_

Республика, край, область \_\_\_\_\_

Город (населенный пункт) \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_ Дом \_\_\_\_\_

Корпус \_\_\_\_\_ Офис \_\_\_\_\_

ФИО ответственного \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Тел. \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_

(подпись)

(ФИО)

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2008 г.